
Протоиерей Алексий Лисняк
«САШИНА
ФИЛОСОФИЯ»
и другие рассказы

К 20-летию
возрождения
Сретенского
ставропигиального
мужского монастыря

1994–2014



Протоиерей Алексий Лисняк

«Сашина философия»

и другие рассказы



Издательство
Сретенского монастыря
Москва, 2014

УДК 821.161.1-322.2Лисняк
ББК 84(2=411.2)6-444
Л63

Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 14-404-0326

Протоиерей Алексий Лисняк

Л63 «Сашина философия» и другие рассказы. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. – 288 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0869-6

Размышляя о нашей «невеселой, пропитой, прокуренной и разворованной жизни», нетрудно впасть в уныние. Но автор далек от этого. Он умеет различать главное и второстепенное, найти верную интонацию повествования. Рассказы, включенные в книгу, написаны умелой рукой. Они дышат тонким юмором и любовью ко всему окружающему.

УДК 821.161.1-322.2Лисняк
ББК 84(2=411.2)6-444

ISBN 978-5-7533-0869-6

Атеист



Отдыхаю. Передо мной пруд, уходящий за горизонт. В руках удильник. Воздух свеж после грибного дождичка. Смотрю на застывший поплавок. До чего хорошо! Иногда слабый ветерок прогонит рябь по воде, и снова спокойствие. Скоро закат. Сегодня обязательно его дождусь. Это зрелище интереснее десятка поплавков. Да и не в рыбе счастье — не каждый день, да что там день! Не каждое лето выпадает свободный вечерок для рыбалки. Ржавый крючок на моей удочке наверняка уже пуст и вылизан до блеска.

Поездка на пруд стала для меня простой долгожданной встречей с природой, подаренной когда-то Творцом непутевым людям — нам.

Полезно иногда на часок оставить суету, заботы, остановиться, оглядеться по сторонам и увидеть лес, пруд, небо. Задуматься о том, насколько скоротечна земная жизнь среди этого великолепия, которое здесь, рядом. Здорово все же отдохнуть от бесконечных забот по восстановлению разворованного крещеным людом храма. Отдохнуть от кирпича, известки, раствора, вернее — от бесконечного их отсутствия.

Хорошо и полезно бывает уединиться со своими мыслями на природе, но сегодня такое счастье меня миновало. Справа от меня мочит в пруду свои удочки и донки главный зоотехник нашего совхоза — личность уникальная своей заурядностью. Он уже целых полчаса пытается громко и браво завязать со мной спор — этакую атеистическую полемику, чтобы поддержать среди своих соседей-рыбаков репутацию балагура и весельчака.

— Что попы? Такие же люди, как все! — разлетается над прудом его бодрый монолог. — Так же, поди, пьют да пляшут, как все. — Ненадолго замолкает и торжественно оглядывает подмигивающих рыбаков.

— Вот вы, батюшка, тоже рыбки вот решили, того... Придете домой да под ушицу самогоночки, эх!

Соседи гогочут, а говорун продолжает:

— А я что же, должен попам верить? Сказки какието! Все у вас, у попов, грех — то это нельзя, то это! А я, может, жизнь люблю! Может, я и вовсе — атеист, может, и Бога никакого нету!

Ну вот, отдых и испорчен. Кажется, смотрим мы все на свои поплавки одинаковыми глазами, но видим совсем разные вещи. До сих пор удавалось пропускать белиберду зоотехника мимо ушей, но всему бывает предел. Достаю из воды удочку и начинаю сворачиваться.

— А вы, — говорю, — Григорий Михалыч, быстро поправились. Помню, год назад, когда ваша жена позвала меня вас, больного, соборовать, мы с вами както по-другому беседовали. Помню, как раз после первого помазания у вас печень сильно закололо, так «Господи, прости, помилуй» с языка не сходило. А теперь вот уже и атеист.

Публика насупилась и стала молча взирать на неподвижные поплавки, а я не спеша смотал единственную удочку, положил ее в багажник рядом с пустым садком и тронулся домой пыльной проселочной дорогой. По правую руку — пруд, по левую — лес. В небе один за другим проносятся учебные истребители, но им не под силу заглушить мерный гул двигателя моей машины и вечернюю песню перепелок. Через дорогу снуют суслики, каждый сам по себе. Один совсем маленький да тощий, другой побольше, пожирнее. Их Господь любит, дает им пропитание и хорошую погоду. И нас тоже любит. Всех одинаково — и толстых, и тонких, и праведных, и грешных. Даже атеистов, и тех любит.



Жертва



Жертва для Господа — величайшая в мире добродетель. Кто-то от любви к Богу жертвует свободным временем, кто-то, как та евангельская вдова, жертвует всем своим пропитанием, дабы имя Всевышнего воспевалось в храме, в стене которого есть и ее кирпичик. Редки случаи, когда от безграничной любви ко Творцу люди жертвуют и своим благополучием, и даже жизнью. Различными бывают пожертвования. Жертвователям — рай и счастливая Вечность!

Как и любой храм, разграбленный трудящимися за время безбожной власти, наш, освященный в честь Богоявления, нуждается в любых пожертвованиях. Некогда двухпрестольный, имевший двух священников и диакона, огромный церковный двор со школой и садом, высокий кирпичный оплот и крестилку, — ныне облезлый стоит он посреди обширного пустыря.

Огромное пятитысячное село не изобилует нынче своим мастеровитым людом. Нет уже тех каменщиков и штукатуров с малярами. Как иногда бывает

полезно для спасения души настоятельствовать в таком приходе! Овладел настоятель мастерством, скажем, художника — вот разрушенному храму и расписные своды. Овладел профессией столяра — вот и иконостас готов. А там, глядишь, и штукатурить научишься да мастерком владеть и будет красоваться храм белокаменными кокошниками, окруженный узорчатым кирпичным забором. Если, конечно, найдется благодетель, который подарит храму немного кирпича за свои грехи. А уж как приятно видеть благодетеля-подвижника, который взялся бы помогать одному из немногих радетелей современного деревенского прихода — его настоятелю!

Так был рад и я, когда в один солнечный летний денек в нашем приходе кроме двух строителей и штукатуров — настоятеля и пономаря Алексея Семеновича — появился третий помощник. Сергей рассказывал о том, как и где он трудился, об ударных стройках, в которых он участвовал, и о прочих трудовых свершениях. Рассказ вышел красочным. «Да... — вздохнул радостный Семеныч, — мастер на все руки. Давно бы нам этакого помощника». Договорились о цене за обещанную штукатурку. Настоятель (то бишь я) занялся одним из своих обычных дел — поиском денег на зарплату Сергею, а пономарь со следующего дня должен был стать у нового штукатура подсобником. Вдохновленные, все разошлись отдыхать кто куда. Пономарь — домой, а Сергею отвели для проживания маленькую хозяйственную комнатку в притворе храма. Пусть располагается. Главное для такого мастера — все под рукой. Не нужно ездить на работу автобусом со множеством пересадок. Встал, помолился, позавтракал, и вперед, как говорится, служи Богу своим сокрушенным духом и опытными

руками. Вот они, мешки с цементом — в соседней комнатушке, вот он, песок — у паперти, вот в двух шагах и источник студеной воды для раствора — блестящая колонка, пожертвованная храму. Леса уже стоят, мастерок и новенький ковшик сияют на солнце, точно платиновые. Трудись.

Кому случалось наблюдать в среднерусском селе появление первых звезд на прохладном вечернем небе, тот меня поймет. Даже писк редких вечно голодных кровососов комаров бывает приятным, ведь позади еще один тяжелый знойный день. Заботы, проблемы, конечно, никуда не делись, просто, как и всё сейчас, находятся в умиротворении. Где-то далеко в клубе танцы, оттуда доносится глухой стук, почему-то зовущийся музыкой. Где-то прогрохотал мотоцикл. У соседей за забором завозились и захрюкали поросята в своем закутке, должно быть, их мучают во сне кошмары. Сонно лают собаки. Унылое кваканье доносится со стороны загнивающей речушки. Всё находится в состоянии полудремы, кроме полосатых колорадских жуков. У них еще много дел — им предстоит ночное истребление картофеля.

Сижу на скамейке в саду. Становится все темнее. Уже не виден крест на храме, уже не виден и край огорода. Даже полоски на коте, свернувшемся по соседству, уже не видны. Зато в небе внезапно засветился спутник. Вот он угловато движется мимо звезд, но вскоре и он исчезает. Если бы можно было продлить, растянуть этот неповторимый вечер! Ведь он такой необычный. Та же природа, та же обстановка, что и вчера, но нынче... нынче у нас появился Сергей. Теперь, Бог даст, штукатурные работы закончим к Успению и разберем уже порядком



надоевшие леса и прочие «подмостя», как их здесь называют. Глаза сами закрываются от усталости, и вижу, должно быть уже во сне, прекрасную радостную картину: Сергей сидит на лесах и зычным голосом взывает: «Семеныч, раствор!» Семеныч мечется с ведрами между бетономешалкой и опытным штукатуром, и все идет на лад, как тогда, когда наши прадеды ходили под стол пешком. Как все же мудр народ в своих пословицах и высказываниях! Недаром говорится, что приятно наблюдать любую стихию — и как течет вода, и как горит огонь, и как кто-то работает. Приятно.

Обычное утро: молитва, завтрак. Собираюсь в храм с радостным предвкушением. Обычным путем, как и каждый день, спешу в церковь. Как обычно, при виде священника в рясе местные люди настораживаются, перестают улыбаться и спешат перейти на противоположную сторону дороги. Но сегодня не удручает даже эта боязнь прохожих быть укушенными. Улыбаюсь всем. Хорошее настроение! Как ни старались селяне растащить и церковь вместе с колхозом, ничего у них не вышло. Колхоз развалился, а храм стоит! Вот над его облезлыми стенами сияет на солнце новый оцинкованный пожертвованный купол. Вот под ним леса. Вот и работник на лесах. Надо же, какое трудолюбие! На часах еще семь тридцать, а он уже... вот молодец, вот...

Молодцом оказался Семеныч. Это он, замесив раствор и не дождавшись Сергея, забрался на леса и занялся штукатуркой.

— Бог в помощь! — приветствую его, глядя вверх.

— Спаси Господи! — падает оттуда.

— Где же наш труженик? — интересуюсь.

— Отдыхает, вчера утомился с дороги, перебрал малость.

Ну что ж, бывает со всяким. Пусть отдохнет, оклемается. Отслужу молебен с панихидой, съезжу на погребение и подсоблю своему трудолюбивому помощнику пономарю.

Трудным выдался жаркий июльский день. Сначала молитва в храме с двумя престарелыми прихожанками, затем бесконечные ведра песка, воды, мешки цемента. Уже под вечер, когда Семеныч ушел домой, когда вымытый инструмент сиял под лестницей в колокольне, за мной пришли из соседнего

совхоза. Там человек при смерти, нужно бы его поисповедовать да причастить.

Больной действительно нуждался в напутствии, пребывал в тяжелом состоянии. Больше в тяжелом состоянии духа, чем дряхлого парализованного тела. Обычная поздняя и трагичная исповедь и бесконечно позднее сожаление о растраченных впустую силах и талантах. После причастия говорил он с некоторым облегчением и о том, с каким бы удовольствием принес за свои грехи жертву Богу. Хоть пропитание свое, хоть одежду, хоть руки, хоть всю жизнь. Да только поздно хватился, зовет Господь на суд и ничего уже не исправить. Вот тебе и вожделенная жертва.

«Жертва Богу — дух сокрушен». Эти слова пророка Давида крутятся у меня в голове на обратном пути ко храму. Вот он, мост через гнилую речушку, вот показалась и колокольня, окруженная строительными лесами. В голове встает образ недавнего умирающего исповедника. Покайся он чуть-чуть раньше, вспомни он чуть раньше о суде Божьем, глядишь, и еще один восстановитель прибавился бы к нашей немногочисленной братии. Вот она и жертва, и дух сокрушен, и все остальное. Размышляя об этом, подхожу ко храму, заворачиваю за угол, ко входу...

Полумертвый от первача Сергей на багажник велосипеда какого-то местного парня ретиво привязывает пьяными руками мешок цемента. Церковного цемента. Завидев меня, парень бросил свой велосипед и ретировался.

— Какое счастье, Сережа! Нам кто-то пожертвовал мешок цемента! Отвязывай его скорее да заноси в храм! А куда же девался жертвователь? Поблагодарить бы...

При этих словах «труженик» стал внимательно разглядывать шеренгу одинаковых настоятелей, возникшую перед ним. У всех, видимо, было по два креста, по два носа и не менее двух пар глаз. Сережа фокусировал то левое, то правое око, щурился. Наконец икнул, в его кармане булькнуло и он навел-таки резкость. Увидев меня одного, он многозначительно ответил: «Э-э. Да-а, жертва...»



Аргументы и факты



Задолго до появления над церковным забором очков слышна дружеская брань. Это явление можно наблюдать хоть каждый вечер. Жара ли, стужа ли... Макар отличается почти английским постоянством. Ругательства слышатся отчетливее, отчетливее. И вот наконец над изгородью появляются бифокальные очки в роговой оправе. Шнурками от ботинок они привязаны к оттопыренным ушам, которые прячутся под навесом кепки-аэродрома. Макар самый высокий в селе человек и большой любитель посудачить «за жисть» сам с собой. Сам себя материт, сам оправдывается. Да так громко, словно двое глухих общаются через дорогу. Поравнявшись со мной, он приостанавливается, приподнимается на цыпочки. Теперь над двухметровым забором виден его небритый подбородок. Силится просмотреть насквозь свои залапанные линзы. Похоже, не получается. Он крякает, отправляется дальше и продолжает свою увлекательную беседу:

— Так вот. О чем это я? Ах да...

— Что, совсем, дурак, ничего не помнишь?

— Кто, я?

— Нет, я! Я-то помню.

Ему с собой не скучно ни общаться, ни — главное — выпивать. Вроде и компания, а самогон — в одну глотку.

Он удаляется. Завтра по-джентльменски пунктуальный Макар будет просыпаться у дороги под старой березой ровно с половины шестого, когда мимо него погонят коров, до без четверти девять, когда лежать под летним солнцем станет нестерпимо. До вечера будет искать в жизни главное, а когда найдет, побежит домой, сядет сам напротив себя и со здравицами самому себе будет пить это «главное». Оба налижутся, а что будет дальше, я уже рассказал. Будет вечер, и будет утро, вечер, утро...

Жизнь счастливого Макара при мне разнообразилась лишь однажды, когда мы с ним знакомились.

А было это так: осенним утром, когда холодно и мокро лежать под березой у большака, коров уже не погнали. Зато по дороге побрел я служить первую литургию в этом селе. Макар лежал и ежился от холода. Такой несчастный, одинокий. Кутается в телогрейку, натягивает кепку чуть не на плечи. Я и не подозревал тогда, что под этой кепкой их двое. Подошел, наклонился: «Живой? — спрашиваю. — А? Мужик?»

Он отмахнулся, как от мухи. Немного погодя приподнял голову, взглянул на черную зимнюю рясу. Под линзами захлопали удивленные глаза. Он встал, спокойно ткнул пальцем чуть правее меня:

— Этот поп с рогами!

И сам подтвердил:

— Точно!

Затем указал левее меня:

— Этот... с хвостом, что ли?

— Угу, сам что ли не видишь?

— А этот, — он кивнул на меня, — с рылом?

— С каким рылом?

— С каким, с каким… с поросячьим, конечно.

— Я боюсь, а ты?

— И я боюсь! Это ведь анчихристы в попов вселились!

Макар с перепугу «побежали» куда-то. Я отправился на службу. Рассказал утреннюю сценку Алексею Семеновичу. Тот решил, что Макар допился «до чертиков». Однако уже вечером Петровна шептала своим товаркам, что поп — антихрист, крестилась, плевала через плечо. Клялась, что с рожками. Сама видела! Ей-ей!



Покровские летуны



Потрепанная полукруглая «Волга» с оленем на капоте не спеша плывет по укатанному проселку. Я сижу рядом с водителем, пономарь Алексей Семенович царствует за нашими спинами на огромном диване, точно секретарь райкома.

Осень выдалась на редкость сухая. Справа облетает посадка, слева чернеет перепаханное поле. Одолевает дремота. Хорошо, должно быть, медведям: нас везут в Покровку на похороны, а они, жирные и довольные, засыпают сейчас в своих берлогах под шелест золотистой листвы.

Путь неблизкий, и, чтобы разогнать сон и скоротать время, заговариваю с водителем, мужичком лет шестидесяти:

– Вы тамошний? Покровский?

– Да.

– Тогда, наверное, должны знать, почему вас, покровских, зовут летунами?

– О! Это действительно история любопытная, – он приосанился, поерзал и принялся за рассказ:

— Было это еще при Сталине, сразу после войны. Я тогда мальцом был, но прекрасно все помню. Никто теперь не разберет, откуда, но появилась в нашем сельце монашка — не монашка, чернушка — не чернушка... короче, бабка. Вся в черном, юбка по земле волочится. Бодренькая такая старушенция. Палка у ней сучковатая и котомка. Повадилась, значит, эта старуха шастать по дворам. Зайдет в дом, поднимет кривой палец к потолку и знай, проповедует. Да так грозно, словно поп какой.

— Кайтесь, — говорит, — грешники! Скоро суд Божий! Все пропадете!

Ну, кто понабожней, те слегка струхнули.

— А когда, — говорят, — суд-то этот?

— В среду!

— Завтра, что ль?

— Завтра! — говорит. — Раздайте свои пожитки соседям, а сами в одном исподнем лезьте все на крышу. Подымется страшный ветер, опустится черная туча. На ней — Бог! Кто раздаст все — тот лезь к Богу на тучу. Он спасет, а кто не послушается, тому гореть в геенне. Горе безбожникам и коммунистам!

Ну, деревенька-то наша невелика была — дворов эдак полста. Бабка всех обошла, страху напустила. А после войны дело было. Мужиков-то мало. Так, старички бородатые, бабы да ребятишки. Весь день про страшный-то суд судачили — кто верит бабке, кто не верит. Кто испугался, а кто смеется себе. Так день и прошел. Ну, а как стемнело — тут вовсе боязнь взяла. Суд-то, он ведь уже с утра начнется, а вдруг бабка не соврала?

Смотрю, бабы в потемках по задам шастают. Все с узелками да с мешками. Это они, кто понабожней, раздают, значит, скарб. Ну, жили-то бедно и разда-

вать вроде нечего, а нашлось-таки кое-что. Безбожники и рады: неси нам все! У вас, дураков, завтра конец света, а у нас нонче ваше барахлишко. Неси, неси!

Туда-сюда, уже утро. Солнце поднимается, а деды, бабки, вдовы кой-какие уже на крышах сидят. Все в одном исподнем. Молятся себе. То-то хохоту было. Безбожники и партийные веселились: вот, мол, дураки! Раздали все, да еще и перед всем селом в одних подштанниках! Те молятся, эти смеются, а конца света все нет и нет. Кое-кто уже и с крыши слез. Но тут! Началось! Не пойми откуда, ветер поднялся страшенный. За ним и туча опустилась. Темно так сделалось, жутко. Туча вся сверкает, гремит. Да нависла еще так низко-низко. Вот тут-то безбожникам не до смеху стало. Кинулись было и они барахло свое раздавать. А кому? Никто ведь не берет, дураков нет. Ну, может, и так Бог в рай возьмет? Поскидали все с себя портки и в одних подштанниках — на крыши. И давай себе рыдать да голосить. Молятся, молятся... А гром такой поднялся, аж мурашки по спине. Молнии лупят, земля трясется. Жуть! Ну а когда дождь хлынул, тут уж ясно стало — всемирный потоп! Не сбрехала бабка-монашка, дай Бог ей здоровья. С небес настоящий водопад. Тут уже спасаться надо. Соседних домов не видать. Позакрывали все глаза и на тучу попрыгали. Вот... Потому всех покровских летунами и кличут. Да...

— Да, действительно, летуны, — говорю водителю и жду продолжения истории. Но он насупился, молчит.

Не выдержал Алексей Семенович:

— Ну, и как же вас Бог судил?

— Как, как! Да никак. Тучу ветром сдуло, дождь кончился. Смотрю через плетень — соседи мокрые,



злые, в грязи возятся. Бабку проклятую матерят. Кое-кто ее искать кинулся, а где ж ты ее найдешь?

Когда все умылись и обсохли, пошли по дворам свое, значит, барахло обратно требовать, а идти как? Все ж роздано — надеть нечего, так и блукали все, в подштанниках. Вот... Такой, значит, суд.

Я оглянулся на Семеныча. Он закусил губу, чтобы не смеяться. И мне повеселело, дремота отбежала.

— Ну, — спрашиваю водителя, — а вы-то где были при «конце света»?

— Где-где! — не без иронии разозлился тот. — Не зря же мы все как один зовемся «покровские летуны»! Мне, правда, повезло, я с «небес» в навоз шлепнулся, там мягко, а вот тетка моя, та на дрова угодила, ногу сломала. Очень уж в рай хотела, Царство ей Небесное.

— Что, померла?

— Нет, то есть... тогда все обошлось, это она теперь... ее отпевать едем. Вы уж, батюшка, помолитесь, чтоб Бог ее, того, к себе взял. Очень уж хотела она... чтоб... в рай...

На пригорке за оврагом показалась крохотная деревушка. Десяток кривобоких домиков — все, что осталось от Покровки...

— Помолимся...



Светлый кот



На этот раз синоптики не обманули. После туманных дней показалось солнышко.

Мы служили литургию в древнем храме, который не закрывался ни в войну, ни в революцию. Служили я и тамошний настоятель — священник, может быть, в пятом поколении. Хор тихо и сладко пел, как, наверное, и двести лет назад. Лучик солнца просочился сквозь старинное стекло южного окна в алтаре и медленно пополз вниз по пережившим и холода и войны фрескам. Маленький красноватый зайчик застыл на лике Спасителя. Потом, во время «Трисвятого», сонно переполз на жертвенник. Затем зайчиков стало много. Они перестали румяниться и заиграли на парчовых покровцах, начищенных рипидах, на настоятельском облачении. А один, огромный, светлый и как будто бы главный, чинно воцарился на горнем месте, когда диакон принялся читать Евангелие. Такое великолепие обычно надолго впечатляет.

Диакон вручил настоятелю увесистое Евангелие и забасил сугубую ектению. Внезапно припомнилось,

как лет двенадцать тому назад, в мою диаконскую бытность, в другом старинном храме и при другом настоятеле я так же однажды после Евангелия вышел на солею и почти остолбенел от восхищения. Тогда я впервые отметил, что церковное солнце — какое-то особенное. Оно светило в окна купола, и зайчики забавлялись, прыгали по золотым царским вратам с одной завитушки на другую, с виноградной грозди — на резной листок. Интересно, тогда были другие «зайцы» или те же, что и сейчас?

Летят годы... Поменялась эпоха. Лошадей заместили автомобили, фузеи сменились пулеметами, на место купцов и лабазников пришли брокеры и менеджеры. Когда-нибудь все это тоже уйдет — канет в историческую пропасть, а церковный веселый свет останется. Эти же зайчики будут резвиться на макушках у других певчих, эти же лучи будут светить на тот же вечный евангельский текст, правда читать его будет другой диакон, внимать — другие люди. Зато потом, когда все пройдет, а Церковь останется, на Ее торжество соберутся все, все, кто от века сумел оценить неповторимый церковный свет, и эта радость уже не закончится.

К концу службы зимнее солнце висело уже высоко. Настоятель проповедовал, я радостный стоял рядом и глядел на полтора десятка прихожан, утонувших в огромном лучистом храме. В этом селе люди почти не утратили традиций: левую половину занимали женщины, а правую — пара старичков. Посреди церкви, под главной люстрой сидел кот. Старый крепкий кот. Закончилась проповедь, миряне подошли «под крест». Настоятель, я и диакон удалились в алтарь и разоблачились, а кот все продолжал сидеть. Он дремал под церковным солнцем и во сне

покачивался из стороны в сторону. Когда последняя прихожанка вышла из церкви и в храме воцарилась тишина, мы услыхали мурлыканье, временами походящее на храп. Я с любопытством глядел на полосатого прихожанина в приоткрытую вратницу. Мой интерес заметил настоятель:

— Что, нравится? Это Барсик. Мы его уже не замечаем, привыкли.

— А откуда он взялся? — полюбопытствовал я.

— Да он тут всегда был. Ну, конечно, не он, а там предки его какие-нибудь... Но я вот лет, почитай, как тридцать тут служу и сколько помню, что ни служба, он всегда на это место приходит и молит... то есть дремлет. Пускай сидит. Зато насчет мышей — полный порядок.

Настоятель отыскал свою скуфью, и мы отправились к нему в дом чаевничать. Проходя мимо полосатого мышелова, батюшка поприветствовал его: «Барсик! Кыс-кыс!» Кот упал на спину, скрестил лапки и будто ответил: «Мя-а».



Техпомощь



Отец Георгий из села Горянина — человек благочестивый. Его храм возвышается над селом и отражается в пруду. Не ходит народ на службы — не беда. Бывало, напечет батюшка сам просфор, поставит матушку петь на клиросе и служит себе, молится. Господь ему внемлет: дома семья — Божий дар — шестеро детишек. С маленькими было тяжело, а сейчас... Кто замужем, кто учится, кто в армии. Дома один Давид — ему шесть лет.

В тот день отец Георгий по обыкновению служил. Давид хозяйничал дома — запалил керогаз и варил у крыльца поросячью тюрю в ведерном чугуне. Помощник все-таки. Он уже погасил фитиль и оставил чугунок остывать, когда услышал на улице за забором красноречивые проклятия. Злой рыболов-любитель, похожий на городского, пинал свой новый мотоцикл и плевал на него.

— Вот ведь делают! Главное, знак качества есть, а он глохнет, зараза, посреди улицы!

Рыбак плюнул и, почесав затылок, полез в инструментальный ящик за ключами. Маленький Давид

немного постоял у калитки, посмотрел, как горожанин неумело обращается с пассатижами. Когда же рыбак уткнулся в схему двигателя, мальчику стало скучно и он пошел кормить своих любимых поросят. Ему нравилось смотреть, как те, учуяв завтрак, визжат и толкаются, а потом накрываются ушами и чавкают, уткнувшись в корыто. Когда Давид отправился в дом ставить чайник, с крыльца он увидел, что к мотоциклисту подошел их сосед — дед Лукич. Мальчуган наспех глотал горячий чай — очень уж хотелось посмотреть, чем кончится история с мотоциклом. Техника ему нравилась.

Лукич уже выкрутил свечи и ласково матерился на них.

— Главное, ёлки, искра есть. Свечки-то новые.

— Конечно, новые, я этот «ижак» месяц назад взял.

— Вот, ёлки!

Давид подкрался к ним сзади и затаив дыхание наблюдал, как Лукич разбирает новый мотоцикл «по болтикам».

— И бобина, ёлки, хорошая, и провода все новые...

— Ну да, новые.

— Вот, блин...

Лукич заставил рыбака нажимать на стартер, а сам смотрел на фыркающий двигатель и чесал затылок. Наконец он выпалил:

— Щас карбюратор разберем, если не поможет, ты эту технику вон, в пруду, ёлки, утопи.

Мотоциклист напрягся — жалко новую вещь. На пыльную землю ложились части карбюратора. Лукич разобрал его весь, вывалял в пыли, покурил и вздыхая начал собирать обратно:

— Вроде все рабочее, новое, ёлки...

Старик Лукич – мотоциклист бывалый, многим соседям он был единственной в селе техпомощью. Пять минут – и весь движок снова в сборе.

– Ну-ка, заводи!

Рыбак принялся раз за разом жать на стартер, прыгать на него. Затем вдвоем с Лукичом они толкали новый «ижак»* по улице взад-вперед. Мотоцикл фыркал и не заводился. Наконец Лукич не выдержал:

– Тьфу на твой мотоцикл! У меня самого, ёлки, свиньи не кормлены, а я тут с тобой вожусь!

– Ну, как же... – возразил было городской, но дед его оборвал:

– Вон, видишь, пруд у церкви? Там его утопи.

Хозяин затосковал. Подкатил мотоцикл к изгороди Лукича и уселся на лавочку у его калитки. Затем закурил и принялся плевать в землю.

– Слышь, Лукич! – позвал он не поднимая головы.

– Чё? – отозвался тот из-за забора.

– А когда от вас автобус до города?

– По воскресеньям!

Рыболов ужаснулся:

– Сегодня же пятница!

– Ага, ёлки, пятница! – уже из сарая прошумел Лукич.

Давиду стало жалко несчастного мотоциклиста-рыбачка, и он подсел к нему на скамейку.

– Эхе-хе... – вздыхал тот и курил.

Мальчишка не выдержал:

– Хотите, я вам помогу?

*Мотоцикл «ИЖ Юпитер», выпускался Ижевским машиностроительным заводом.

Несчастный повернулся к нему:

— Ты?

— Да.

— А ты разве разбираешься?

— Нет, просто помогу, и все.

— Лукич! — позвал мотоциклист деда, — чё это за пацан тут? Он чё, соображает в технике?

— Ага, соображает, — съязвил тот, — это поповский сын, он щас тебя молиться заставит. Он, как и отец его. Всех, ёлки, задолбал: молись да молись.

Мотоциклист, уцепившийся было за соломинку, ощутил падение зыбких надежд.

— Хотите, заведется? — не унимался мальчик.

Несчастный молчал.

— Ну, давайте помолимся, и заведется! Ну, давайте! Я же знаю, я пробовал. В разных вещах помогает.

Мотоциклист упорно молчал и начинал злиться.

— Я вот один раз помолился, так у меня поросенок выздоровел, а мама думала, что помрет.

Мотоциклист заиграл желваками:

— Уйди, пацан, уйди от греха...

Мальчуган не унимался:

— Ну, давайте помолимся, Бог поможет, Он все умеет.

— Щас по башке тресну! Чё тебе надо, чтоб ты ушел? — не на шутку рассердился мотоциклист.

— Вы помолитесь, и я уйду, сразу уйду, — залепетал мальчик чуть не плача.

— Ну ладно, что делать нужно? — сжалился рыболов.

— Просто перекреститесь и скажите: «Господи, помилуй и помоги мне, пожалуйста».

— И все?

— Да.

– И отстанешь?

– Отстану.

– Ну, ладно.

Мотоциклист выбросил окурок, махнул крестное знамение слева направо и произнес: «Господи, помилуй и помоги мне, пожалуйста. Всё?»

– Всё, – Давид улыбнулся.

– Ну, теперь проваливай.

– Ладно, я буду проваливать, а вы тоже не задерживайтесь тут и уезжайте.

– Как же я уеду, автобус только в воскресенье.

– А вы на своем «Юпитере», его Бог починил. Вот попробуйте.

Мотоциклист, чтоб отвязаться от прилипучего пацана, встал, «тыркнул» стартер, и... мотоцикл завелся. Не дожидаясь, пока заглохнет, рыбачок вскочил в седло и умчал из села.

Когда осела пыль, Лукич вышел из сарая, посмотрел вдаль, на большак. Почесал затылок и плюнул:

– Тьфу, ёлки, чертовщина какая-то.



Зимнее тепло



За окошком — холодрыга. Завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу, только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики: в печи полыхают дрова, в трубе поет ветер...

Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами — соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь...

Признаться, дареные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на «недосуг», а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал:

— Михалыч, какая добыча на этот раз?

— Да вот, грузди пошли.

Позднее снова интересовался:

— Теперь что, Михалыч?

— Да вот, успенские начались.

Лето уже заканчивается, если успенские опята начались. Вот уже и Успение на носу. Не за горами и осень.

Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди... А Михалычу — новое удовольствие: «осенние поперли!»

Прошедшее лето выдалось хлопотным, но «погрибничать» (или, как придумал мой знакомый, — поучаствовать в «погрибении») однажды случаем улыбнулось. У знакомого как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков, словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем.

Дивный осенний лес! Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой знакомый сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж

пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу повстречали ужа. Он, полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули: «Благодать-то... а тишина-то...» Ежик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками.

— Век бы отсюда не уезжал! — выдал я, и мой знакомый эту мысль поддержал.

Зимой такие воспоминания согревают — куда твои валенки! У своего дома, напротив, по колено в снегу топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросой. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос так, что случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, «Беломор», фуфайка... Зато осеннего ежика помню, как родного. И ужа с белкой. Хоть портреты пиши...

Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили — умные — опят сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон, долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропало или проходимцу-ежу не досталось.

Запах леса пьянит. Голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад, на Землю захочется.



Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего, нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в Небесном Царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, Оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог. Целый Бог! А в Нем — всё. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова Счастье. И оно не заканчивается потому, что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а посмотреть сейчас вокруг: из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется!

На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый «собор лесного духовенства». Мне знакомый их представил:

— Перед нами весьма деликатесные грибы. Звать их — зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята!

До чего же им подходит это простонародное название! Если приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу «священную компанию» от грядущей лесной ночи и поспешили к машине.

Хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от этих воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут.

Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда, осенью, мы с моим знакомым тоже устроили себе похожий уют: на сковородке шипели «коллеги попы», на крыльце посвистывал самовар. Неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали ли литераторов, перемывали ли кости политикам? Не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню, как родного. И белку тоже!

Тепло...



Всякое дерево, или Подпорка для безработицы

После экскурсии по храмам областного центра мальчишки-алтарники явились ко всенощной раньше обычного минут на сорок. Всем четверым по десять лет, учатся в одном классе.

— Батюшка, мы такое...

— Мы видели... это, ну... службу...

— Были в соборе, как архиерей...

Оказалось, их весьма впечатлила литургия, которую совершал сам владыка митрополит. Ребятишки взахлеб рассказывали о великолепии кафедрального собора, о блестящих архиерейских ризах, о могучем протодьяконе и о слаженном митрополичьем хоре. Их впечатления понятны, ведь наш сельский храм по благолепию — не архиерейский собор, наш хор из трех женских голосов и рядом не станет с митрополичьим. О предстоятеле вовсе промолчу. Очарованным алтарникам захотелось в своем селе, в своем храме видеть такую же красивую службу, и они занялись своими прямыми обязанностями с небывалым оптимизмом. Отныне кадило вычищалось и блестело, точно золотое. И в колокола звонить наладились.

Сначала, понятно, коряво, но очень быстро наловчились. Ну а клиросные богослужебные книги стали для наших пономарят любимым настольным чтивом.

Кажется, это было только вчера, а прошло с той поры без малого два года. Храм преобразился. Алтарники подросли, стали серьезнее и опытнее в церковных делах, ведь теперь им уже по двенадцать лет. В парчовых стихарях они чинно вышагивают на малый вход, ну что твои иподиаконы. Каждый наглажен, причесан. А уж читают-то как! Два года назад трудно было представить, что ребятишки станут на службе незаменимыми помощниками — прекрасно ладят с Апостолом и справляются с каноном, а кажется, будто еще вчера все четверо водили пальцами по священным текстам, тщась выдавить из себя хотя бы слово. Вот уж правду говорят, было бы желание и усердие, а там Бог все даст: и здоровье, и терпение, и разум. Сверстники наших ребят привычно не взрослеют: кто гоняет целыми днями футбол, кто по кустам покуривает, а кто и... да что там говорить — лоботрясы. Растут, и у них еще все впереди.

Вот, например, какими становятся лоботрясы. Возвращаясь домой после всенощного, слышу, как над притихшей сельской улицей разлетается хриплый мат и громкий кашель. Это бранится Саша. Говорят, что не так давно он был неплохим штукатуром, специалистом. Теперь же бесконечные магарычи и природная лень превратили его в непревзойденного алкаша и бездельника. Вот он, небритый, ковыляет мне навстречу со своим костылем, будто одноногий пират Джон Сильвер.

— Саша, на кого ты стал похож! — говорю. — Косматый, грязный и, конечно, пьяный. Выглядишь, как старый бомж, а ведь тебе сколько, лет сорок пять?



— Сорок четыре, между прочим. Батюшка, дай червонец, а то жрать нечего да нога вот болит, на лекарство надо. Пять рублей уже надыбал, а вот червонца не хватает.

— Ну, нет, — говорю, — лекарство за пятнадцать рублей я знаю. Это которым Петровна, что ли, торгует? На это лекарство не дам.

Удрученный Саша принялся ругаться с новой силой, а я отправился дальше. Его нецензурная брань провожала меня до самой калитки. Из этого монолога можно было уяснить примерно следующее: демократы — сволочи, всё растащили, честным людям ничего не оставили — жрать нечего. Все кругом жулики и жмоты. И поп жмот. Нога болит, а Петровна и чекушки в долг не отпустит... демократы — сволочи. А поп — жмот.

Удивительный человек этот Саша. Вспоминаю анекдотическую сценку, приключившуюся при нашем с ним знакомстве за пару лет до этого. Была нужда штукатурить церковь. Семеныч обратился для этого

к местному специалисту Саше. Страна вовсю привыкала к кризису, и тот уже начал безработничать. Еще не окончательно опустившийся Саша, побритый и причесанный, пришел наниматься на работу. Помню, рассвело. На его брюках — стрелки. Он вышагивал чинно, как солдат, и пах «Шипром». Всюду сопровождавший Сашу серый кот своей комплекцией походил на «Фольксваген-Пассат» второй серии. Саша подошел к церковной паперти, и мы представились друг другу. Он пожаловался на безденежье, и началось обсуждение условий работы. Я назвал цену за квадратный метр штукатурки.

— Цена подходящая! — обрадовался Саша.

Затем поговорили о подсобнике и, довольные, подошли к облезлой северной стене храма. Здесь, при взгляде на внушительный объем предстоящей работы, обещающий долгие месяцы жизни с зарплатой, работяга бы обрадовался. Я на это надеялся. А вот Саша, напротив, загрустил.

— Да... — вздохнул он.

— И еще, — продолжил я рассказ, — очень либеральное условие. Можно даже пить.

— Да? — штукатур удивился.

— Да. Но только вечером, после работы, или в свои законные выходные.

Тут Саша поник окончательно. Всем видом он показывал, что какой-то пункт договора ему не по душе.

— Что случилось? — спрашиваю. — Может, цена перестала вдруг удовлетворять?

— Цена-то как раз подходящая...

— Отчего же вдруг столько грусти?

На этот вопрос Саша ответил безличной фразой, после которой и мне, и стоящему рядом Семенычу стала ясна причина его «временной» безработицы:

– Это ж... как бы... вкалывать надо?..

Эти слова стали последними в нашей деловой беседе.

И вот прошла пара рабочих сезонов. Упитанный серый кот где-то сдох от голода, и Саша осиротел. В его лачуге все так же собирались приятели, но с каждым месяцем они выглядели все хуже и хуже. Вскоре куда-то стало исчезать крепкое Сашино здоровье. Теперь вот уже без костыля не ходит...

Вовремя лишиться ненужной вещи – это большая удача. Вот и лишает нас Господь по случаю ненужных вещей. Воришку может загребущих рук вовремя лишить. Ведь чем с двумя руками да в пекло, лучше уж вовсе без них, но в рай. У кого-то ногу заберет, чтоб не ходил куда не след.

А еще в Евангелии говорится о деревьях полезных и никчемных: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Должно быть, потому-то Господь может всякого бездельника, не приносящего никому пользы, лишить даже жизни. Жизни простой, несмотря на все ее трудности. И для последнего это станет большой удачей.



Давид-креститель



Отец Георгий из села Горянина любит жизнь. Он восторгается ею, как маленький, и радуется возможности жить бесконечно на небесах. Когда он проповедует с амвона, то обязательно расписывает будущий Рай самыми праздничными красками, и несколько старушек, что стоят в церкви, возвращаются со службы молодыми и воодушевленными. Подумать только! Бесконечная, бесскорбная и беспроблемная жизнь! Неужели она наступит?!

Однажды в церковь вошла немолодая упитанная дама. Неизвестно, слышала ли она рассказ про Царство Небесное или нет. Ее взгляды на жизнь вообще были весьма своеобразными. Народ уже покинул храм, а батюшка что-то замешкался в алтаре. Дама терпеливо его ждала. Был летний вечер. Мимо церковных окон с мычанием протопало совхозное стадо. Наконец и отец Георгий загремел в алтаре ключами, собрался уходить. Спустился с амвона, и тут дама подплыла к нему с просьбой о помощи:

— Батюшка, без вашего совета мне не обойтись. Мне Петровна, ну вы ее знаете, божественная такая,

наказала свечку за мужа поставить кверху ногами, ну, чтобы он сдох. Я вот свечку купила, а где у нее верх, где низ — не разберу. Помогите разобраться, посоветуйте, пожалуйста.

Отец Георгий уставился на даму с удивлением. Он растерялся и не знал, как помочь этой прихожанке, чтобы ее муж околел от свечки. Он открыл рот и удивленно хлопал глазами. Дама решила изложить свою просьбу подробнее:

— Понимаете, муж — такая сволочь. А еще он — алкаш, гад и изменщик. Он к Нюрке после работы заходил как-то. А Петровна все видала. Она мне про его похождения всегда докладывает, добрая она, ну, по-соседски. Я уже вся извелась, высохла вся от тоски — сил моих нет. Ну а Петровна-то, она старушка божественная, знает, как кому земельку подсыпать, как кому булавку в окошко воткнуть. И берет за советы по-божески. Ну я ее и спросила, как с мужем-то быть. Она и посоветовала: «Чтоб он сдох, — говорит, — надо за него свечку за упокой поставить в церкви, но только обязательно кверху ногами. У попа, говорит, спроси, как и что. Он, дескать, в семинарии обучался. Такие мелочи-то знает, поди».

Отец Георгий посмотрел на необъятную, «высохшую» от горя даму, подумал немного и решил рассказать ей про то, как Бог всех людей любит, про жизнь, которую Бог всем дает, про жизнь, которая будет там, на небесах, у всех крещеных людей. Он даже открыл для этого рот, но дама перебила:

— Вот свечка, видите, кручу ее в руках, кручу, а ни верха, ни низа не различу никак.

Батюшка взял свечку в руки, расковырял фитиль и показал:

— Вот верх.

Потом глубоко вздохнул и добавил:

– Я храм собираюсь замыкать, служба кончилась. Идите домой. Там вас муж, наверное, ждет. Скоро корову доить. Одному-то несподручно, поди, без хозяйки со скотиной управляться. Идите помогать, а в убийцу мы с вами поиграем как-нибудь в другой раз.

Дама смиренно покинула церковь. Батюшка затушил все лампады, лязгнул засовом на входной двери, щелкнул замком и отправился домой.

Трудовой день закончился, и в прохладном воздухе тут же запищали комары. С фермы по окрестным лугам разливается коровье мычание и незлой пастушечий мат. Слева, в пруду чуть пониже церкви, играют золотые карасики. Ребятишки запутались в удочках на берегу. Гуси за день утомились под августовским солнцем. Они уселись у Лукичевой калитки и даже не шипят на прохожего в шелестящей рясе. На отца Георгия нахлынуло вдруг поэтичное настроение. Все наполнено прекрасной жизнью! И потом, подумал батюшка, тоже будет жизнь, но куда прекрасней этой! В миллион, наверное, раз!

Толстая дама настигла отца Георгия уже у его калитки. От резвого галопа ее «иссохшее» тело все взмокло. Задыхаясь она промолвила:

– Батюшка, спасибо за совет, только вот я спросить забыла, на какой подсвечник свечку-то втыкать? И еще, забыла, сдохнет-то он – гад – скоро после этого?

Поэтичное вдохновение отца Георгия враз оставило. От жалости к даме и ко всем жертвам Петровны заныло сердце. Он решил помочь ей спастись, забыть об убийственных планах, скроил страшную гримасу и рявкнул что было духу:

— Дура! А ну пошла отсюда на Великую горку к Кузькиной бабушке! И Петровну свою божественную с собой прихвати! Уйди с глаз моих! Не то я сам тебе эту свечку поставлю! Я те так ее поставлю!!!

Дама решила не рисковать и поспешила убраться. В селе поговаривали, что местный поп свои обещания обычно выполняет.

Расстроенный батюшка вошел в дом и уселся чаевничать. Горячий чай обжигал, и настоятель долго фыркал в свою чашку про то, что «одолели Петровны, когда ж их Петровняя дурь уже повыветривается. Молишься за них, молишься, а они...» На третьем стакане он успокоился, и тут к нему подкрался шестилетний Давид. Он придвинул табуретку поближе к столу и вскарабкался на нее. Руками, перепачканными зеленкой, он тоже нацедил себе чаю и принялся молча хлебать. Он был задумчив и совсем не слыхал, как отец вопрошал его про обилие зеленки на руках. Заметно было, что в голове пацана скрупулезно копошится занятная думка. Наконец он выдал:

— Скажи, пап, а крещеные ведь не умрут и в рай попадут... все?

— Бог их знает, — ответил отец, — все, кто Его слушается, наверное.

— Так нам, пожалуй, скучно будет в раю без кошек. Они-то, бедненькие, все некрещеные.

— Ну, не знаю. Кошки ведь нам для этой жизни нужны. Так ведь Господь устроил.

Давид еще немного помялся. Он все не решался поделиться с отцом своим великим открытием. В конце концов не выдержал:

— Знаешь, пап, я сегодня подумал, что кошкам тоже не хочется умирать. И я изобрел, как их тоже в рай взять. Я Мурку, и Барсика, и всех их котят...

ну... это... покрестил. А что, запросто. Взял тазик, принес воды из колодца, и все. А еще, только ты не ругайся, потом я поросят покрестил и цыплят... тоже... Свинью тоже вот хотел...

Тут на столе затряслись стаканы и миски. Отец Георгий от хохота весь покраснел и взмок. Сыну нужно было кое-что серьезно объяснить про крещение, но сделать это теперь без смеха все равно не получилось бы. Чтобы отдышаться свежим воздухом и успокоиться, он вышел на крыльцо. Но тут ему стало еще смешнее: по двору чинно вышагивает крещеный петух, крещеная курица водит православных цыплят. На карнизе развалился Барсик — толстенный ортодокс...

Сад и вся улица утопают в зелени. В палисаднике красно от мальвы. Злые комары к сумеркам распищались не на шутку. Батюшка прихлопнул одного на лбу и подумал, как хорошо, что Давид не додумался и этих крестить. Гонялся бы за ними до ночи по селу. И на том свете потом бы от них житья...



Губернатор острова Мицубиси



Утверждение о том, что каждый человек живет в собственном мире, может быть легко оправдано. У каждого из нас свое общество приятелей, свой круг друзей, знакомых, с которыми нас связывают общие дела и общие темы для разговоров. А еще у каждого есть собственный скрытый мирок, где удобно спрятаться в тяжелую минуту и не пускать туда никого-никого.

Однажды, когда я служил вторым священником в большом храме маленького районного городка, за мной приехал человек из отдаленного села, с тем чтобы пригласить на похороны матери. Весь его вид как будто бы говорил: «Свяжешься со мной — не избежишь приключений». И первое впечатление не было обманчивым. Этот человек крепко пил. Отказать христианину в православном погребении нельзя, и буквально через десять минут мы уже неслись по трассе Москва — Симферополь на старенькой «шестерке» в его родную деревню за тридцать верст. Мой непохмеленный возница с трясущимися руками был страшен за рулем. Опытные водители уступали нам

дорогу. Машина неслась по ухабам, выскакивала на обочину и снова возвращалась на асфальт. Было страшно, и единственным утешением служил сломанный спидометр. Его стрелка уже перешла на службу к другим людям или, может, валяется где-то в придорожной пыли, поэтому можно было успокаивать себя, думая, что все равно едем мы медленно и с нами ничего не случится. Через двадцать километров нас ждал съезд с асфальта, от которого до деревни еще километров десять. Эти последние десять верст оказались настоящим испытанием. Еще пару дней назад проехать здесь было бы невозможно. Непрерывные осенние дожди и сельскохозяйственная техника превратили проселок в две глубокие параллельные траншеи, но, на наше счастье, прошлые день и ночь выдались морозными, и слякотная колея схватилась ледяной коркой. Мы неслись по проселку, и мне казалось, что самое приятное на свете занятие — это пешее путешествие. Казалось, все отдал бы, только б выйти из машины и пойти пешком. В багажнике, под капотом, в подвеске передних колес и заднем мосту, а также в салоне и «бардачке» что-то страшно и непрерывно грохотало. Мотор ревел, страдающий водитель стонал и еще крепче прижимал к полу педаль газа. Стекло на моей двери от тряски то и дело опускалось. Хотелось его держать (холодно все-таки), но мешали легкие удары потолком по голове... или головой о потолок? Теперь это уже не важно.

По прибытии нас обоих встретили разные компании. Меня богомольные старушки в черных платках повели к покойнице в ветхий домик, а моего водителя похожая на него по всем признакам похмельная братия поторопила в сарай за домом, где «все уже готово», по их словам.

Печальны церковные погребальные песнопения, но печальны они по-особому. Не унылые, не пугающие, но напротив, вселяющие упование на бессмертие, на вечную, радостную жизнь. Слушаешь их и представляешь Божье снисхождение к нам грешным. Представляешь первых людей в раю. Людей счастливых, вечных. Представляешь и грех, ставший причиной изгнания беспечных людей из сладкого рая. Грех, ставший причиной смерти. Представляешь и будущее воскресение, когда верные услышат архангельский трубный зов, встанут из своих ковчегов и пойдут встречать Светлого Господа, грядущего на небесах в предшествии Славы. А потом будут разные компании. Одна — в вечную жизнь, а другая...

В тесной избушке сизый кадильный дым, сладко пахнет ладаном, мерцают свечи. Бабушки взялись подпевать. Удивительно, церкви в их селе нет уже лет шестьдесят, нет уже и сломавших ее выродков, а церковные песнопения до сих пор живут в народе и утешают христиан. По окончании погребального чина даже не хочется выходить на улицу, до того в домике тепло и уютно, но всех ждут свои хлопоты. Одних — похороны, а других — дорога назад, до храма.

На улице первый снежок. Огромные, рыхлые хлопья снега величаво ложатся на промерзшую землю при полном безветрии. Постепенно они накрывают собой заиндевевшую грязь на улице, неубранную капусту в поле и гнилую «шестерку», некогда окрашенную в сиреневый цвет, стоящую поблизости. Из сарая за домом тянет махорочным дымом и доносятся обрывистые, жеваные слова песни «Шумел камыш». Понимаю, что назад придется добираться пешком. Прощаюсь с бабушками и отправляюсь из деревни в сторону трассы. Снег медленно, чинно падает,

словно воздушный десант, и, прежде чем растаять, долго лежит на рясе и на непокрытой голове. Где-то высоко, за серыми облаками, гуляет шум реактивного самолета, а сзади, из деревни, доносится кудахтанье одинокой озябшей курицы. Над околицей раскатывается далекий распев: «Кругом помя-а-тая-а трава». Пройдя с километр, понимаю, насколько опрометчиво поступил я, не взяв с собой теплую зимнюю скуфью. Будь она на мне, можно было бы не бояться простуды. Еще через километр начинает казаться, что путь сюда на старой «шестерке» был не так уж и плох и что с большим удовольствием проехал бы на ней еще разок, в обратную сторону, если бы кто-нибудь предложил.

На мое счастье, предложение подвезти не заставило себя долго ждать. Немного погодя меня догнали два дюжих пожилых бородача в фуфайках на стареньком «Юпитере» с коляской. Коляска под завязку загружена мороженой капустой с поля, видимо, корм для личных поросят.

— Садись, батюшка! — почти приказным тоном сказал тот, что сидел за рулем.

— Спаси Христос! — ответил я и быстро забрался на гору капусты.

Мотоцикл начало трясти, в ушах засвистел ветер. Было слышно лишь, как сквозь ветер бородатый мотоциклист пытается объяснить неразумный поступок своего свата, Васильича, который должен был хоронить свою мать, привез батюшку и напился.

— Всё водка проклятая, — надрывался он, перекрикивая ветер, — всё водка!

Так мы добрались до трассы. Мотоциклисты повернули на север, а я, поскольку должен был ехать на юг, принялся «голосовать».

Если бы не голова, окончательно замерзшая на ветру, здесь можно было б долго стоять и просто смотреть на проносящиеся мимо машины. Вот караван из больших груженых автопоездов с устаревшими надписями по бортам: «Совтрансавто». Вот тарахтит старенький «Запорожец» с седым пенсионером за рулем. Вот пара дорогих мини-вэнов. Люди едут, едут, едут, пристально всматриваются в голосующего священника, на миг отвлекаются от дороги, от своих мыслей, проносятся мимо и вновь погружаются в думы, окруженные своим мирком, ограничивающимся пространством автомобильного салона.

Возле меня остановился отполированный «Мицубиси-Галант», водитель жестом пригласил садиться. Приятно продрогшему человеку оказаться в тепле! В водителе я узнал нашего прихожанина. С год назад он начал изредка наведываться в храм, потом постепенно стал завсегдатаем воскресных богослужений. И вот теперь Господь послал его мне на выручку. В машине чисто, мягко и тихо. На зеркале болтается освежитель-елочка и источает приторный запах ананаса.

— Как здорово, — заговариваю я, — что вы здесь проезжали, иначе стоять бы мне у дороги до «китайской пасхи».

— Я не проезжал, — задумчиво отвечает он, — недалеко от вас стоял в посадке, смотрел на первый снег, да вот увидел, как голосуете, и решил выручить.

— Большое спасибо, — говорю, а он грустно продолжает:

— Я часто выезжаю на природу, или просто катаюсь по дорогам, или остановлюсь где-нибудь и музыку слушаю, думаю...

— Не скучно вам вот так, одному?

— Напротив, — сосредоточивается, обгоняет «Волгу» и договаривает: — Мне здесь хорошо одному в машине, сам себе хозяин.

Замолкает. Его грустный взгляд скользит по асфальту.

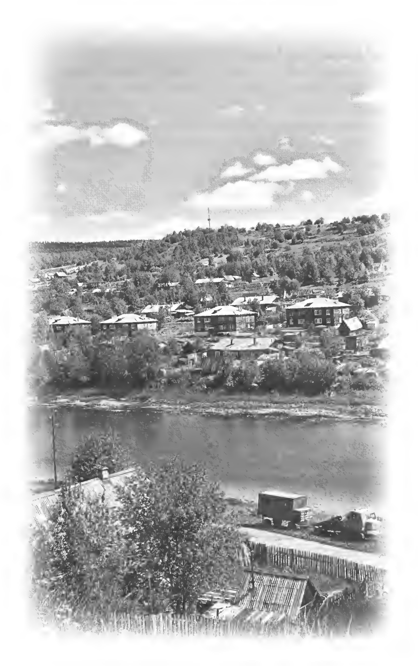
— А как же дом, семья? — спрашиваю.

— А что дом? Дети выросли, разъехались, теща постоянно гостит. У них с женой свои семьи: то Луис-Альберто, то Хуан-Карлос какой-нибудь. Усядутся перед ящиком и целыми днями сидят. Я там вроде как лишний. Поначалу, по молодости, пробовал жену с собой брать. Вывезу в лес, показываю ей радугу после дождя, цветочки лесные, деревья, травку, а она злится, что мокро, что очередную серию по ящику пропустила, что комары кусают и крапива жжет. Баба есть баба. Разные мы с ней. Начал было в церковь ее звать, так она сказала, что я, старый дурак, совсем с ума съехал. А мне нравится в церкви. Да и вообще одному лучше, спокойнее как-то. Здесь, в машине, у меня свой мир, свой суверенный остров, и здесь я хозяин, а не жена. Здесь никакой демократии. Сам командую. Сам подчиняюсь. Ни тебе оппозиции, ни тебе диссидентов. Кому со мной не по пути, тот иди пешком или смотри в телевизор.

Наш диалог прервался яростным свистком автоинспектора. Машина плавно остановилась на обочине. Из-под облетевшего тополя к нам подошел пожилой старшина с радаром, вежливо представился, проверил документы. Затем показал трехзначную цифру в окошке радара-пистолета и сказал:

— Хотел вас наказать, да вижу, батюшку везете, торопитесь. Поезжайте, но не лихачьте. Там дальше, на въезде в город, стоят коллеги из области. Они могут и права отобрать.

Водитель поблагодарил инспектора, и «Мицубиси» понес нас дальше, мягко шурша колесами. Японская магнитола заголосила русскую песню про «Леди Осень», и мы молчали остаток пути, думая каждый о своем, наслаждаясь спокойствием на дрейфующем островке без войн и распрей. На островке Мицубиси. Губернатор и попутчик, соблюдающий политический нейтралитет.



Выдумка



Жара. Понтонный причал покачивается на волнах, баюкает. Река у нас такая широкая, что все что ни есть на другом берегу кажется игрушечным. Игрушечные хаты, игрушечный паром, трактор на пароме... Он еле-еле тарахтит, отсвечивает новой синей краской. Шум с того берега почти не слышен. Игрушечный цыган дядя Яша там. Он сидит мешком на гнедой кобыле, тоже ждет переправы, а паромщика, как всегда, где-то носит. За цыганской лошадью притрусила на переправу черная как гудрон собака Смола. Я знаю ее. Я всех в нашей станице знаю. Все десять лет, с самого рождения здесь живу. Смола углядела поодаль на лугу стадо баранов. Она шалит — скачет, лает почти не слышно. Игрушечные бараны пугаются, носятся толпой по берегу, и сюда то и дело долетает дружное, разбавленное летней жизнью «бе-эээ». Где-то возле солнца веселятся жаворонки. Пробую разглядеть — слепит, не видно. Брызжет на луга их песня. Кладу голову на деревянные перила причала, смотрю на бегущую воду...

Я все здесь знаю. Вот тут, на скамейке, кое-кто недавно выскреб гвоздем: «Поромшик асел». Весной мы с дружбаном Мишкой разглядывали эту клинопись, а Гришка из девятого класса заявил, что написано с ошибками. Только с какими, не сказал. Мы долго кумекали. Вроде всё по правилам. Мы-то неплохо по русскому, помним, как писать «оро-ере», «жи-ши». Все сходится — «поромшик». Наверно, ошиблись с «аслом»... Тогда тоже просидели на причале до заката, прождали. Теперь я один, Мишка далеко...

Мою бабушку в станице тоже все знают. Кто зовет ее уважительно — читалка, а кто свысока так — монашка. Мне не нравится, как они при этом ухмыляются, а ей все равно. Она хочет в рай. Я тоже хочу, а Мишка — она говорит — уже там. Когда мой друг захворал, мы с бабушкой ходили его «попроведать». Мишкин отец хотел тогда бабушку разогнать. Мол, за каким лешим приперлась, у хлопца всего лишь воспаление легких, через неделю опять на речку побежит. Торчит там вечно... Отец у Мишки — парторг, его у нас все уважают...

...Сзади шумно подрулил ГАЗон, обдал причал пылью, гарью и заглох. За рулем балагур Филя «шебутной». Из кузова высыпали бабы в белых косынках — пололи свеклу — улеглись под ольхой в тенечке. Молчат, напеклись в поле. Филя сегодня злой, поднял капот, рычит.

Из-за речного поворота быстро-быстро летит «прогулошный». На палубе гомонят. Динамик шепелявит песенку «Барабан был плох, барабанщик бог». Это теперь я знаю слова, а раньше Мишка мне говорил: «Таракан бил блох, а баран оглох». Прислушиваюсь к шепелявому матюгальнику. Не-эт, врете, прав был Мишка...

Филя бежит на берег, скидывает сапоги и тельник. В одних семейных прыгает в воду. Тут, у причала, глубоко. Он хватается за крепежный трос, чтоб не снесло течением, ложится на спину. От катера набегают волны, колыхают и пристань, и Филю шебутного. Прогулочный тает за поворотом.

Трактор там, на пароме, заглох, ржет цыганова лошадь, просится к воде... Снова тишина... Жаворонки...

Мишку хоронили, еще каникулы не начались. Я ходил к нему с классом, а бабушку с ее ветхими подругами Мишкин отец не допустил. Тогда бабки стали под крыльцом и пропели знакомое мне «Со святыми упокой». Партгрупорг попытал, мол, что это еще за такой «упокой»? Бабушка ответила «чтоб не тронул *никакой*». Отец выругался, плюнул... А я знаю кто это — «*никакой*». Бабушка говорила, что Мишку *он* и не тронет — «ангельская душка, добрый наскрозь». Еще она говорила Мишкину отцу, чтоб тот не тужил. Апостолы, дескать, в древние времена радовались, чуяли, что смерти нет. И нам заповедали веселиться на всякий час. Никто ведь «смерти не увидит». Он тогда разозлился, зашипел: «У меня сын помер, а вы, дуры старые, хотите, чтоб я веселился?! Глупая выдумка! Это вашей жизни никто не увидит!»

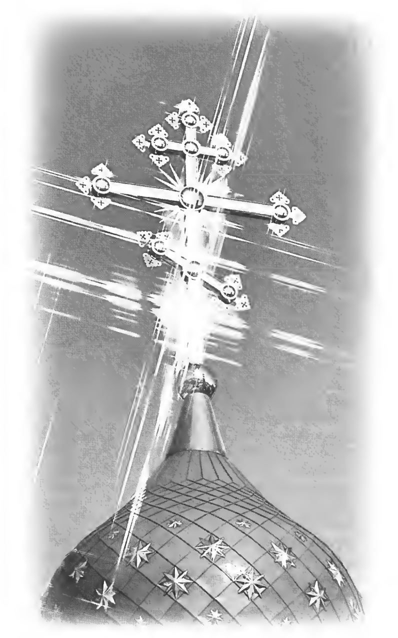
...Паромщика все нет. Тени совсем исчезли, печет. Бабы отправились до ближайшей балки, «охолонуться». Филя достал из кабины полевой бинокль, залег под ветлой. Пыжился, пыжился... Нет, говорит, ничего не видать. Отдает бинокль мне. Я разглядываю баранов на том берегу. Мне всё видать, все-то кудряшки! Мужики столпились на солнцепеке, Смола чешется, ловит блох. Там, где берег покруче,



вьются стрижи. Тьма, как много их! Неслышно щебечут, волнуются. Во-он, с пригорка пылит по белому проселку «поромщик» на велике. Мужики ожили, наверное, станут бить. Так уже было однажды. Все повторяется. Жизнь... Нет, не бьют – похоже, оправдался.

С луга тянет донником. Мне делается скучно глядеть на другой берег. Глаза от бинокля слезятся. Напоследок вздумалось рассмотреть жаворонков, где-то они там? Солнце такое!.. Чуть не ослеп через тот поганый бинокль! Жмурюсь, тру глаза. Филя ругается, отбирает свою «оптику».

Ясный светлый диск в голове застит все, мерещится — тру и тру влажные веки. Каково же там Мишке, в раю, где «Христос ярче всякого солнца», как бабушка говорит? Наверное весело, веселее, чем нам. Хотя куда веселее? И нам скучать некогда, жизнь — в глазах пестрит. Как ее можно не видеть? Это смерти не видно. Вот она-то — смерть — и есть самая глупая выдумка...



Песня про гробы



Светлая седмица. Переполняет радость оттого, что Господь победил смерть, болезни, горе и печаль. Хочется этой радостью делиться и делиться. Ее много, на всех хватит. На всех, кому она нужна.

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе! — торжественно, словно на параде, отвечают известные прихожане. Их лица светятся ярче солнца. Счастливые.

— Христос Воскресе! — иду, почти лечу с кадилом и трисвечником по храму.

— Воистину Воскресе! — вещает пономарь Семеныч из алтаря.

— Воистину Воскресе! — из-за колонны ликует Виктор — старый христианин, беженец из Азербайджана.

— Воистину Воскресе! — из-за другой колонны тоненьким голоском звенит Екатерина — беглянка с Украины.

— Воистину Воскресе! — это Илья, переселенец из Казахстана.

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

В храме пять человек. Все беженцы с Русской земли на Русскую землю. Рассказывают, что в этих самых «станах» и даже на Украине тосковали по духовности, оттого и прибежали сюда, в центр Святой Руси, побросав квартиры и работу. А тут... Местные беженцам не радуются, если же уличают в церковности, вовсе съедают.

— Пусть лучше съедят свои, православные! — заявил как-то по прибытии из Азербайджана Виктор.

— Православные? — удивился я. — Так ведь православные не съедают, они, то бишь мы, — не волки.

— А как же?.. — он задумался.

— Вот так!

— Да...

— Да!

Но пасхальное настроение убивает все темные мысли.

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

После службы, довольные, пятеро молитвенников расходятся по домам. Словно фонарики разбредаются по темным проулкам и приветствуют мрачных соседей, дымящих на лавочках возле дворов:

— Христос Воскресе!

Те в ответ ворчат.

Интересно, а почему так? Может, мы, священники, мало проповедуем? Может, мы, духовенство, малограмотные? С такими мыслями бреду домой. Меня отвлекает женщина, чей огород подходит вплотную к стене храма. Вот и ее церковная жизнь не волнует. Может, я виноват?

— Батюшка, можно вас спросить?

«Ого! — думаю, — неужели духовное шевеление? Отрадно!»

— Конечно! — говорю и добавляю: — Христос Воскресе!

— Ну, это у вас, там, может быть, и воскресе.

— Вообще-то везде и всегда, — отвечаю, — так о чем вы спросить хотели?

— Да вот, у кума мать при смерти. Он ей гроб смастерил, а сам греха испугался. Спроси да спроси у попа, грех это или нет, когда сын для матери гроб делает?

— Грех, — говорю, — когда человек в церковь не ходит, когда в праздник бездельничает, когда не постится, ворует и сквернословит.

— Да нет, — даму ответ явно не устроил, — это все ерунда! Вот вы скажите, гроб для матери делать — не грех?

Я честно ответил:

— Ничего про гроб для матери Спаситель не говорил. Да и вообще в Писании ничего похожего не встречается.

— Говорили мне умные люди, — возмутилась дама, — что попы ничегошеньки не знают. Так и есть. Чему вас только в семинарии учат, дармоедов! Лучше у бабки Петровны спрошу. Она-то уж побожественней любого попа будет...

Женщина обиженно побрела к Петровне и долго еще возмущалась у ее калитки:

— Хм.. тоже мне... не знает, что грех, а что нет... еще поп... хм... людей учит... Вот Петровна в церковь не ходит, и то знает... не тот нынче поп пошел, не тот...



Пельмень



От холода у Семеныча посинели губы, а у меня уши. Кадильный дым не тает, а висит снопами в воздухе. В открытые царские врата видны застывшие огоньки на лампадах семисвечника. На улице трещит мороз. Все живое жмется поближе к теплым печкам.

В такие зимы обязательно замерзает насмерть хотя бы один человек.

Перед нами наспех сколоченный необитый и неструганный гроб. Отпеваем пристывшего в сарае односельчанина. Веселый был человек. И звали его весело — Пельмень. Он и сейчас лежит и беззаботно улыбается. За моей спиной со свечой молится сестра «радостного» покойничка, рядом с ней племянница. Чуть поодаль качается пьяный Футбол, на аналое повис в слезах Топтыжка. Звенит кадило.

Интересные у них имена. Такие же нехристианские, как и все остальное. Семеныч пытался записать новопреставленного в тетрадь сорокоустов и долго вопрошал Футбола, как звали покойного. Тот держался за окно свечного ящика и вещал:

— Пельмень! Ты че, отец, Пельменя не знаешь?

— Я говорю — имя, ну, как его зовут? — допытывался Алексей Семенович.

— Глупый ты, что ли? Я же тебе толкую — Пельмень!

Вмешалась сестра:

— Иваном крестили.

Семеныч записал новопреставленного Ивана и ухмыльнулся:

— «Пельменя не знаешь?» Кто ж его не знает? Знаменитый покойничек. Он у меня мешок картошки увел, у соседа уголь почти весь осенью перетаскал. Все натопиться не мог...

Хор приступил к канону. Мы с пономарем запеваем: «Упоко-ой, Господи, душу усо-опшего раба Твоего».

Сестра и племянница крестятся. Жалеют усопшего.

Когда новость о том, что пьяный Пельмень замерз, облетела село, многие облегченно вздохнули. Теперь можно кур не замыкать и спокойно оставлять у порожков на ночь рваные галоши. Топтыжка с горя пропил кусок медного громоотвода, который покойник когда-то спилил с церковной колокольни. Сестра устало смотрит на гроб. Про нее селяне решили, что она отмучилась. Прекратились дебоши, вытрезвители, бесконечные кореша-оборванцы...

Закончилась заупокойная ектенья. Хор запел кондак: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего». Семеныч вступает басом: «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Вот ведь как получается — мы теперь просим, чтобы Господь поселил Пельменя в Раю, со святыми.



Помнится, однажды новопреставленный Иван решил взяться за свое христианское воспитание. Подошел к свечному ящику и купил брошюрку «Как молиться от пьянства». Прочел ее и вызвался помогать при церкви. Алексей Семенович как раз собирался вешать большую трехрядную люстру в трапезную часть храма и взял Пельменя себе в подмогу. Пока работали, Пельмень рассуждал о спасении и трезвости, часто бегал «до ветру». К вечеру Семеныч не досчитался доброго десятка лампочек, а Пельмень, спешно уползая на четвереньках, забыл в храме свою книжку от пьянства.

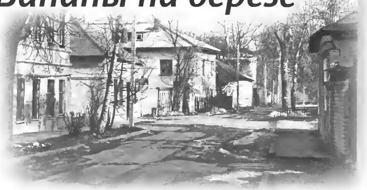
Хор поет прокимен. Содрогаюсь от холода. Сестра вздыхает, когда слышит слова апостола Павла, произносимые Семенычем: «Братья, о умерших не скорбите, словно и прочие, не имеющие упования». В окошко постучала озябшая синица. Жуткая зима. Помнится, еще ласковым летом покойный пугал меня ею. Было это так: мы с Алексеем Семеновичем купили немного досок. КамАЗ подъехал ко храму, и Пельмень подрядился его разгрузить. Мы отлучились минут на двадцать. Когда вернулись, Пельмень лежал пьяный, а над ним матерился водитель грузовика. Через пару часов, когда доски лежали в храме, к нам, отдыхающим на лавочке, приковылял проснувшийся, трясущийся Пельмень и потребовал за работу на выпивку. Я ему отказал и вдобавок попрекнул лампочками. «Ну, подожди, поп! — прошипел тогда горе-грузчик, — подожди, еще не зима! Зимой ты у меня попляшешь!» Я тогда его не понял и даже забыл эту угрозу. Вспомнил только когда выпал снег. В колокольне на досках лежала пара зимних шипованных колес. Весной я оставил их именно там. Теперь их нет. Вот и дождались зимы...

Хор затянул «Вечную память». На лице покойного, постепенно оттаявшем, нарисовалась гримаса: «А нам все равно».

На сороковой день его, как и всех нас, будет судить Сам Спаситель. А нам остается крепкая и вечная память.



Бананы на березе



Занимается вечерняя заря. Одноэтажный городишко не торопится по домам. По его улицам расползается теплый майский вечер. Тополя вдоль проспекта покрылись зеленью и пахнут надеждой. Удивительно похожи друг на дружку русские провинциальные городки. Крохотные местечковые площади в кольце «райком-исполком-клуб-милиция» с неизменной статуей лысого вождя. Разные судьбы у этих городков, разными фамилиями украшены крохотные мемориалы в честь защитников. Даже осанка одинакового Ленина всюду разная. Только дух в таких городках везде один. Сибирь это или Брянщина — никакой разницы. Одинаково щемит душу что-то такое, отчего хочется бросить все и поселиться где-нибудь здесь, под этой вот горой, возле этой вот заросшей речушки. Ловить рыбу, колоть дрова. Летом в выходные гулять по пыльному базару, а зимними ночами слушать волков. Кажется даже, что всякая осень здесь для некоторых непременно оказывается Болдинской, не меньше.

В этом городке прошло мое дошкольное детство. Эти престарелые тополя должны меня помнить: я — салага — трясусь на заднем сиденье, отец рулит по ухабам проспекта, а они сыплют на машину золотую липкую шелуху, веселятся и благоухают. Солнце бултыхается в майской речушке. С моста прекрасно видно, что оно там.

Теперь за рулем я сам. Меня с сынишкой занесло в это захолустье по какому-то пустяковому дельцу. День отшумел, как мог. Солнце силится поместиться в ту самую яму на горизонте, в которой оно всегда ночует в этом милом городке. Городок не хочет отпускать, держит и что-то обещает. По встречке цокает лошадка, вся в «яблоках», за ней громыхает телега с бородатым дедком. Я все не решаюсь отсюда уехать, кручу головой по сторонам, любуюсь. Наконец придумываю отыскать и показать сыну свою улицу, наш дом и двор. Сворачиваю с главной и жму на окраину, благо все под рукой. Скоро выруливаю на эту улочку и теряюсь — так она усохла. А была ведь просто огромной!

Время многое меняет. И быстрее прочего нас самих. В нашем дворике скачут карапузы, веселятся. Им кажется, что эта убогая улочка самая большая в мире. Мне ведь тоже так думалось, когда и я тут скакал. Совсем рядом мой детсад, где я целых пять лет — всю жизнь — давился полдничным молоком. Молоко нам привозил старый бородатый дед. Он полулежал на гремучей телеге и погонял серую в яблоках кобылу. Конечно, сегодня мы видели не его, ведь с той сопливой поры прошло столько лет, сколько ни одна серая лошадь еще не проживала. В этом детсадовском заборе я однажды застрял. Сын не верит. Думает, что я не смогу поместиться промеж железных прутьев.

А я и не могу. Я ведь не карапуз... словно и не был им никогда.

Улочка на горе открывается лугом. Идем по нему, кормим комаров, пинаем нерасторопных кузнечиков. Сын держится за руку. Вдалеке под горой — крохотный вокзальчик. Маневрушка таскает взад-вперед пустые вагоны. Они грохочут. Сюда еле-еле, с опозданием прилетает этот вокзальный шум. Не шум, а шумок скорее. Задумываюсь о жизни, и кажется, что сами мы все — великие и неповторимые — этак вот таскаемся туда-сюда, все гремим чего-то, чем-то трясем. Нам кажется, что получается значительно. А стоит взглянуть на себя хотя бы с такой вот горки, и видится, будто все, что мы производим, — не больше, чем такой точно шум. И тот — игрушечный.

С горы указываю сыну на яму, в которой всегда ночует солнце. Она совсем рядом, и похоже, что светило там ворочается, уснуть не может, поскольку еще не стемнело. Рассказываю сыну, что мне всегда хотелось сбегать к солнечной яме и потрогать этот маленький красноватый блин. Только вот не случалось. Известное дело: «не ходи, обожжешься». А поезда с того крохотного вокзальчика уходили, конечно, на войнушку, а вовсе не в соседний не менее захолустный район. Там, на «войнушке», конечно, зверствовали фрицы. А еще там сидели «патризаны». У соседских пацанов, разумеется, были автоматы, и у меня имелось ружье. Только, увы, съездить на подмогу нашим тоже как-то ни разу не улыбнулось. Старшие не пускали. Жалели немцев, наверное.

Сколько же дней с той поры заночевало в солнечной яме? Мне их так сразу и не сосчитать. С математикой туго. Да и неохота, признаться, над этим голову ломать. Подумалось потужить, а ни грусти,



ни жалости. Пускай себе. Известно ведь, что обратно из той ямы солнце так ни разу и не поднялось, а жизнь от этого не прекратилась — были рассветы. Бог милостив, обрадует, засветится что-нибудь новое, с другой совсем стороны.

Разворачиваемся, идем во двор, к машине. На этой самой дорожке я упирался, не хотел идти в садик. Сын сомневается. А вон в той посадке водились дикобразы и росли бананы. Сын снова не верит, чудак! Я же знаю это наверняка, я же их ел! И неважно, что те бананы смахивали и видом и вкусом на печеную картошку! В конце концов, у меня есть свидетели: «Во-он в том доме, сейчас поедем мимо, жила моя подружка. Маленькая, такая, как ты. Не скажу вот только, как звать-то ее... Оксанка, кажется. Тоже бананы уважала».

Ляпнул и забыл.

На свет фар слетелась вся уездная мошкара. Хлопнули двери, мы тронулись. На заднем сиденье устраиваем сыну берлогу. Ехать отсюда не близко, не люблю ночью. В Оксанкиной квартире засветились все четыре окна. Сын пригляделся и обрадовался: «Гляди! Вон она, твоя Оксанка! Маленькая, с косичками! Она? Там, в окошке, рядом с большой теткой! Стой, давай про бананы спросим!!!»

Тормозить тогда не стали, времени пожалели.

Теперь думается, что в том окошке и правда могла светиться Оксанка. Только наверняка не она тогда стояла рядом с большой теткой. Скорее всего, это курносая девчушка стояла рядом с Оксанкой. Я-то догадался, я ведь не то что мой наблюдательный попутчик — «верю — не верю». Взрослые ведь умеют и соображать.

Жаль только, что соображалка мешает в березовом пролеске отыскивать бананы. Без нее-то, помню, было куда как веселее. Была вера, можно было и без соображалки как-то жить...

…ать вещества,
указать класс.

$NaCl$; KOH; SO_3; CaO; Na_3PO_4

$Cu(OH)_2$, HCl; H_2CO_3

2. Закончить уравнение, указать тип реакции

а) $S + O_2$ б) $P + O_2 =$

в) $CaCO_3 \overset{t^\circ}{=}$ г) $Fe(OH)_3 \overset{t^\circ}{=}$

д) $Zn + HCl =$ е) $CuO + H_2 =$

3. Записать в молекулярном и ионном виде

$CuCl_2 + KOH =$

$AgNO_3 + BaCl_2 =$

$H_2SO_4 + KOH$

Бивис, Батхед и прикладная химия

Иван Иваныч — из приезжих. Давным-давно, сразу после института, распределился в небольшую деревеньку в качестве учителя химии и добросовестно трудился в школе уже не один десяток лет.

В тот день от химика приятно пахло свекольным самогоном. Он сидел за своим столом-кафедрой и вдохновенно разглагольствовал перед восьмым классом о пользе химии:

— Вот вы, разгильдяи, учиться совсем не хотите. Бездельники. — Его речь спокойна и сладка. В классе человек пятнадцать. Им приятно видеть любимого учителя в незлом тихом настроении. А тот слегка косит, поправляет вытертый галстук времен Леонида Ильича и ласково поучает:

— Химия — величайшая наука! Если бы вы, лоботрясы, только знали, сколько полезного можно получить от нее!

В углу класса, через две парты ото всех, коротают время на своей «камчатке» два второгодника: Бивис и Батхед. Вообще-то родители назвали их Вовкой

и Витькой, но по именам их никто не звал. Поразительное сходство с героями развеселого мультфильма сработало, и теперь для одноклассников глупый Вовка был Бивисом, а тормозной Витька — Батхедом. Приятелей это ничуть не смущало. Их вообще мало что смущало в жизни, и поэтому теперь, когда одноклассники занимались кто рисованием, кто маникюром, кто просто игрой в подкидного дурака, они играли в мышь. Нет, не в компьютерную! В обычную серую мышь, ловко изловленную Бивисом в школьной столовой. Они привязали к ее хвосту магнит, отломанный намедни от репродуктора в коридоре. Обоих веселило, когда несчастный грызун надрывался, еле-еле волок тяжеленную ношу по шершавой парте. Всем монолог химика — до лампочки. А тот все говорит и говорит. Даже раскрывает «лоботрясам» кое-какие «военные тайны»:

— Вот вы, бездельники, думаете, что глупая это наука, а? Ошибаетесь. Бесполезная? А? Снова мимо. Был я еще пацаном, ну вот вроде вас, так меня эта химия здорово забавляла! Вычитали мы с приятелем, как взрывы устраивать, смастерили нехитрую бомбочку и подбросили своему школьному директору в кабинет, прямо в окошко. То-то хохоту было! Правда, уши потом долго трещали и сидеть было больно. Вы спросите, как эту бомбочку сварганить? — Иван Иваныч окинул класс непослушными глазами и увидел, как на последней парте растопырили уши Вовка и Витька. — Ну что ж, скажу, все равно вы, олухи, ничегошеньки не запомните! Химики вы мои! Значит, так: берешь магний и напильником превращаешь его в опилки. Потом (это важно!) берешь перманганат калия и смешиваешь с опилками. Ну а потом — дело техники — закручиваешь все это в бумагу поплотней,

фитиль туда... и поджигай... это же, братцы, химия! Тут соображать надо, а вы...

Раздался звонок. Эх, как некстати! Наши Бивис и Батхед сегодня почти влюбились в эту самую химию. Когда они выходили из школы, оба были твердо уверены в том, что Иван Иваныч — «клевый мужик». Как делать бомбочку, приятели запомнили и потому двинули сразу в аптеку за этим... ну, как его... ну, в общем... короче...

В крохотной деревенской аптеке над хилым выбором пилюль и колоссальным ассортиментом никому не нужных трав царила крупногабаритная дама, тоже из приезжих, по фамилии Гершелис. Предпенсионный возраст и феноменальная тучность делали ее спокойной. И хотя усы на ее лице устрашали, она все же была очень добра, особенно к детям. А посему, увидев вошедших Вовку и Витьку, она добродушно оскалила золотые фиксы и ласково пропела:

— А! Мальчики, здгавствуйте! Володенька, как твой папа? Пегедай ему, что настойка календулы закончилась...

— Да не, мы не за тем. Мы это... Нам по химии... Короче, надо этот, как его... Ну, скажи, Витек!

Витек подкатил глаза и долго вспоминал мудреное научное название простой марганцовки. Наконец разразился:

— Пергамот кальция! Во!

Вовка взглянул на приятеля с уважением: «Голова, надо же, запомнил!» Аптекарша все поняла правильно:

— Кальция, мальчики, нет. Вы лучше твогожок кушайте и гыбку, а беггамот где-то был. Ах, да вот он!

Из гомеопатического шкафчика она извлекла крохотный сверточек с надписью «Бергамот» и какой-то

зеленью на этикетке. Приятели взяли сверток, расплатились и, счастливые, отправились домой. Теперь все компоненты были припасены. Глаза у обоих блестели, ведь им не приходило в голову, что перманганат калия и «пергамот кальция» — вещи, в общем-то, разные. Такие же разные, как магний и магнит.

Пилить магнит на опилки обычным напильником — дело нешуточное. За этим занятием друзья провели в Вовкином сарае не один час. Когда окончательно уморились и набили мозоли, Витька предложил:

— Слышь, Упырь, чё-то не пилится. Давай так насыпем этого, как его... пергамота, да и все!

— Точно! — подхватил Вовка.

На альбомный лист они положили многострадальный магнит, насыпали на него бергамот — несчастную травку. В качестве кальция решили положить творожку, как советовала аптекарша. Для этого Вовка приволок из дома свежего, только что сваренного творога целую кастрюлю и вывалил ее на смесь магнита и «пергамота»:

— Вот теперь — настоящий пергамот кальция!

— Угу!

Приятели завернули «гремучую смесь» в известный альбомный лист, обмотали сверток паклей, той, что хорошо тлеет.

— Чем не фитиль?!

— Угу!

И отправились бомбить директорский кабинет.

Вечером одноэтажное здание школы пустовало. В кабинете директора была открыта форточка. Бомбисты подожгли паклю — бикфордов шнур. Едкий вонючий дым попал в глаза, и они смекнули: «Пора бросать, не то рванет прямо в руках». «Взрывпакет» влетел в форточку и шмякнулся на директорский

стол противной сырой лепешкой. Дым от тлеющей пакли наполнил кабинет и струился из форточки. Приятели залегли за углом и заткнули уши, «чтоб это... ну... не поконтузило». Ветер срывал с тополей последнюю желтую листву, гнал по небу табуны дородных облаков, похожих на аптекаршу. Месяц глядел вниз на малолетних террористов и улыбался.

В эту октябрьскую ночь они разочаровались в людях и в правоте учительских слов. А главное, поняли, что химия — это отстой.

* * *

На следующий день, после шестого урока, уставший педагог — Иван Иванович — по привычке заглянул в кабинет к своему приятелю — школьному директору. Тот перебирал мокрые папки на столе, на которых блестели жирные пятна, кое-какие бумаги раскладывал на батарее для просушки. Уборщица Марьванна оттирала от стен творог.

— Ты представляешь, Иван, какая-то падла швырнула на стол творога, чуть не кило. Да еще вперемешку с какой-то гадостью. Стал эту форчму со стола сгребать, смотрю — магнит, тот самый, что вчера от «матюгальника» отвинтили. Вот чудеса! Паленой паклей несет, хоть нос затыкай. Узнаю, чьих рук дело, — уши оборву и высеку!

Иван Иваныч сначала посочувствовал, потом задумался, затем захихикал, а после захохотал так, что директор и Марьванна переглянулись. Он смеялся и смеялся так, что в конце концов от хохота прослезился. Полез в портфель за носовым платком и извлек оттуда завернутую в тот же платок знакомую мышь. Умерщвленную. Всю ученическую благодарность.



Словно блаженная Ксения



Память Божией угодницы — святой блаженной Ксении Петербургской — празднуется не так уж и часто. В начале февраля, когда Церковь, собственно, и чтит ее память, в наших краях обычно морозы. Бывает, идешь в храм рано утром, а небо настолько звездное, будто звездам пригрезился август и они высыпали свой «млечный путь» прямо над нашим селом. Трубы русских печек, высоко торчащие над железными крышами, словно стараются закоптить февральскую достопримечательность и одна активнее другой выпускают в звездное небо столбы угольного дыма. Холод пронизывает, и хруст снега под каблуками слышен в морозном воздухе далеко-далеко, кажется, что до самых звезд.

Обычно бывает именно так, но в это февральское утро необычно все, даже погода. Раскисший снег, лужи. Ночью шел дождь, и теперь кругом стоит вода. Снежно-грязевая слякоть громко чавкает под размокшими ботинками, оглашая окрестность неприятными «мокрыми» звуками. В тумане утонуло все. Не видно ни высоких коптящих труб, ни креста над

колокольней, ни самой колокольни. Ничего. Иду в храм, а сам думаю, что людей на литургии будет нынче совсем немного, в общем, как всегда. Будет Семеныч, еще пяток завсегдатаев да Димитрий, появившийся в нашем селе совсем недавно, с полгода назад. Этим постоянным прихожанам идти в храм ничто не мешает: ни дождь, ни мороз, ни огородный сезон, которым обычно нерадивые христиане прикрывают свою неохоту до богослужений. Эти достойные люди все успевают в жизни: и врагов любить, и Царство Небесное зарабатывать, и храму помогать. Свои огороды тоже не обделяют вниманием, в укор лодырям. Прочие же — да вот и они, легки на помине:

— А-а! Убивают! Помогите! Люди! — это вопит Петровна, знатная, степенная и уважаемая многими местная обывательница. Затем — звон разбитого стекла, и Петровна захлюпала по лужам вокруг собственного дома.

— А-а! Алкаш! А-а! Гад! А-а! Убивают, люди! — взывает бедная старушка. Но люди дремлют. Погода не располагает к тому, чтобы вылезти из-под теплого одеяла и броситься кому-то на помощь.

— Бунт на корабле-е-е! Полундра! — вслед за несчастной Петровной, размахивая мокрым валенком, выскочил зять, вспомнивший после второй бутылки, уже под утро, свою флотскую службу. После пьяных ночей с ним частенько случаются приступы армейских воспоминаний. Поначалу сухопутных соседей чуточку настораживали незнакомые выражения пьяного зятя вроде «свистать всех наверх» или «трави помалу», но спустя несколько месяцев с его появления в доме Петровны люди попривыкли к полуночным «морским боям». Иногда только Петровна жаловалась на своего нового родственника соседкам по скамейке, а те в унисон с ней

вздыхали, качали головами и, сплевывая семечную шелуху, добавляли: «Ну и молодежь пошла». «Ну и молодежь!» – повторяла Петровна. Затем собеседницы переводили разговор еще на чьих-нибудь родственников, но снова и снова чей-либо рассказ заканчивался мощным хоровым воздыханием: «Ну и молодежь пошла!..»

Но молодежь не пошла. Она резво побежала в пьяном угаре за любимой тещей, продолжая пугать ее непонятными корабельными словечками. Дальше все будет развиваться по обычному сценарию. «Морской волк» закроет незадачливую старушку в сарае, попугает ее немного, как всегда, а та будет смиренно сидеть, беззлобно матеря молодежь, покуда обидчик не уснет. Тогда запуганная до смерти морячка выйдет из своего укрытия, из-за комода, и, опасливо озираясь по сторонам, выпустит замерзшую маму из заточения.

В сельских храмах, даже в полуразрушенных, особый, отличный от городского уют. Кажется, та же литургия, тот же хор, те же ладан, свечи, но все подругому, по-домашнему, что ли. В таком домашнем уюте время Божественной службы пролетает быстро. Причастников нет, и скоро скромные сельские певчие заканчивают службу многолетием православному священноначалию. После этого – проповедь. Сегодня день памяти святой блаженной Ксении, и рассказ будет о ней, о ее жизни и подвиге.

И меня, и нескольких постоянных прихожан в который раз поражает рассказ о подвиге блаженной Ксении. Конечно, где теперь встретишь такую супружескую любовь, как у нее. Она любила Бога, хотела спастись сама и желала спасения всем окружающим ее. Спасение – смысл жизни. Не успел заслужить своей христианской жизнью спасение – горе тебе, бессмысленно, впустую прошла твоя жизнь. Муж оставил Ксению вдовой, когда

той было всего двадцать шесть лет. Но не загубленная молодость беспокоила блаженную, а загробная участь супруга, ведь он умер без покаяния, без причастия и недостаточно, должно быть, потрудился для спасения души. Тут молодая вдова и пришла на помощь покойному мужу, решила исполнить не выполненные им Божии заповеди. Надела его мундир, перестала отзываться на свое имя и просила звать себя именем мужа — Андреем Федоровичем. Немало благих дел сотворила она от его имени: и на строительстве храма работала, и, отказавшись от своего имения, нищенствовала, помогая людям, и много, много другого. А все будто не она, а муж ее делал. Тем и заработала блаженная рай своему любимому мужу, да и себе. Настоящая христианская любовь, великая и спасительная.

После проповеди и поучения миряне подходят ко кресту. Как я и думал, людей сегодня немного, человек десять. Среди них постоянный с некоторых пор прихожанин Димитрий. Он недавно появился в нашем селе и тут же стал ходить в храм. Молодой парень в церкви в наши дни — вдохновляет. Его сразу все полюбили. Кроткий, смиренный, трудолюбивый, часто причащался. С ним сразу же подружился Алексей Семенович и стал привлекать его то к благодатной разгрузке церковного кирпича, то к земляным, то к малярным послушаниям. Димитрий с радостью шел на любую благословленную работу и при этом еще успевал трудиться в совхозе, содержать немолодых безработных родителей, живущих в соседнем районе. Он снимал дом в нашем селе, будучи беженцем из свободного Казахстана. Но вскоре родителям подвернулась хорошая работа для Димы, и они позвали его к себе. Когда мы узнали о том, что Димитрий скоро уедет от нас, всем стало тоскливо. За полгода к нему, к его

христианской доброте и готовности на молитвенные и трудовые свершения привыкли и я, и Алексей Семенович, и все, кто посещал наш храм. Димитрий поцеловал крест, заказал молебен о благополучном переезде святителю Николаю и блаженной Ксении. Спустя несколько дней он пришел в храм попрощаться со мной и с Семенычем. Семеныч всплакнул. Понятное дело. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они были настоящими братьями во Христе, братьями по духу, здоровому, твердому христианскому духу. Заверив, что напишет, как только обживется на новом месте, Димитрий удалился грузить мебель...

Прошло больше двух недель. Февраль вновь напомнил о том, что месяц он, в общем-то, зимний. Похолодало, завьюжило. Возвращаясь домой после службы, повстречал озябшую почтальоншу. Похожая на снежную бабу со свекольными щеками, она протянула мне конверт без обратного адреса и пошла дальше со своей сумкой. А я (в который уж раз), проводив взглядом окоченевшую в сарае Петровну, вызволенную дочкой на свободу, и посочувствовав ей, двинулся домой, к теплой печке, размышляя о том, кто бы мог мне написать. Письмо — оно было от Димитрия — поразило своей краткостью, но больше содержанием: «Батюшка, — прочитал я, — пишет вам Димитрий. Простите меня, я вас всех обманывал. Зовут меня Сергей, просто я взял на время имя моего лучшего друга, который погиб. Это длинная история. Я его очень любил. Поминайте за упокой Димитрия. А за здравие меня — Сергея. Здесь у нас тоже есть храм. Теперь я хожу туда со своим именем. Простите. До свидания».

На другой день я показал письмо Семенычу, и тот, прочтя, по-стариковски тяжело завздыхал, покачивая головой: «Ну и молодежь пошла! Ну и молодежь».



В миге от ада



Сане перестала нравиться жизнь. Не его собственная, а жизнь вообще. Пока был юн, он размышлял о будущем, все о чем-то мечтал. Но вот молодость просвистела, а ничего хорошего так и не случилось. Обычное дело — четвертый десяток, и — пустота. Позади ничего, впереди то же самое — бред. Ну работа, ну бабы, ну... вот и весь перечень. Работа давно обрыдла, от баб устал.

Со стороны его судьба вполне могла показаться типичной. Мало ли таких, как он? Зайди в метро — все на одно лицо. На всех похожие штаны, все одинаково дремлют. У всех монотонная работа, однообразные хлопоты. Серая толпа. Но стоит вглядеться отдельно в каждого, и вот — что ни гражданин, то участник своей, неповторимой драмы. И в Саниной жизни было не все просто, как могло бы показаться, заметь ты его плетущимся с работы.

Что уж у него случилось... В этом я сейчас разбираться не стану. Но только Саня сделался редким циником и начинал помышлять об окончании своего пустого жития. Чем больше он об этом кумекал, тем

четче вырисовывалось хоть какое-то грандиозное событие на его слишком гладком пути. Мало-помалу он изучал способы ухода, изучал опыт тех, кто был до него. Так в его серость проник новый интерес. Жить, чтобы качественнее уйти из жизни. Хобби? И такое бывает.

Одно обстоятельство его занимало: в загробное бытие он не верил, но когда изучал опыт неудавшихся жмуриков, его удивляли непонятные явления. Так, один мужик, который собирался удавиться, говорил, что ничего сложного в этом нет. Однако, когда он уже смастерил петлю, поставил под нее табурет и со всеми мысленно распрощался, случилось какое-то... «Стою это я, — говорит, — смотрю на свою петельку. Уже руками за нее взялся, уже заглянул *туда*, а там, за петлей, совсем не знакомая чужая квартира. Гулянка развеселая шумит, гармонь наяривает и свиньи, главное, скачут. Я обалдел, а тут одна свинья подходит ко мне, встает на табурет против меня, берется за петлю и начинает мне помогать башку в нее просовывать. Я сначала — ничего. Потом гармонь смолкла, все свиньи как заржут! А та, что мне помогает, ну просто заходится. И перегарищем от нее! Гляжу, веревка уже на шее. Я назад голову тащить, а все уже, туговато. Глазами хлопаю по сторонам и не пойму, где я. Табурет внизу — мой, а остальное не мое, чужое, страшное. И стен будто нет. Струхнул я основательно. Ладно, соседка вовремя за солью заглянула, а то болтался бы».

Саня не поверил. Подумал, брешет мужик. А тут ему еще один рассказал: «Потолок в бараке гнилой был, не к чему, — говорит, — было удавку пришпандорить. Ну а голь-то, она на выдумки горазда. Вот я и привязал ее к дужке кровати. Пьяный был, руки

не работали. Кое-как смастерил эту удавочку. Сунул в нее башку, а сам сижу на детском стульчике. Осталось со стульчика свалиться, подергаться — и все, конец страданиям. Что-то вдруг боязно стало. Посидел, прикинул все. Нет, думаю, завтра на работу надо, послезавтра получка. Обожду. *Это* всегда успеется. Повалял дурачка, и хорош. И только я так подумал, возникли передо мной два огромных мужика. Черные, лохматые, и у одного в лапе лампа паяльная шипит. Он ее подкрутил, пламя загудело, и мне в рожу горелку — тык! Я увернулся и повис. Они как заржут! Благо спьяну я веревку гнилую взял, лопнула. А то бы...»

Саня решил, что пьяные глаза могут и не такое увидать. А еще подумал, что веревка — это не дело. Ненадежно совсем. Надо так, чтоб наверняка.

Он и не понял, как оказался на крыше. Стоит, смотрит на вечерний город. Красота? Дурь. Народишко внизу что-то все суетится. Приходят с работы, свет включают в квартирах. Сейчас пожрут, спать завалятся. А завтра опять: будильник, автобус, проходная, цех, домой, ужин, спать. Зачем? Нет, хватит с меня. Он встал на край битумной заливки. Внизу, во дворе, мужики «забивают козла». Вот придурки. Все равно скоро все сдохнут. Тоска. Он поглядел вниз. Туда, где скоро должно валяться его тело. «Тело!» — эта мысль впервые покоробила. С девятиэтажной высоты он рассмотрел железную оградку клумбы. Чтоб наверняка. А сам все не решался: «Вот он, я, стою. А там уже не я — тело. Труп». Жутковато. «Если напороться хребтом на оградку, котелок вмиг отскочит». Страшно. Совсем страшно. «Нет, — подумал Саня, — просто так этот шаг мне не сделать. Вот если выпить для храбрости...» Он решил спуститься в гастроном.

Развернулся, а позади него уже стоят два огромных черных мужика, лохматые и с красными глазами. У одного в лапе свистит... паяльная лампа! Уже не вырваться. Жить почему-то вдруг так захотелось! Черный повернул на лампе ручку, пламя загудело, и сунул горелку Сане в лицо. Саня отскочил, чтобы не опалиться, и полетел спиной вниз. Лохматые заржали. Они скалились, и Саня видел, как медленно-медленно их свиные рожи скрываются за краешком кровли.

Он давно прикинул, что полет с крыши будет занимать не больше трех секунд, но, видимо, просчитался. Время потянулось... Медленно, как в заторможенном кино, проплывали этажи. В окнах Саня успевал рассмотреть жильцов. Люди возвращались с работы, садились ужинать. Обнимали детей, смотрели футбол, выпивали. А у Сани при жизни не было детей и никогда уже не будет! «При жизни! — Саня остолбенел! — Но ведь я еще жив?..» ...А жизнь уже в прошлом. В квартиру на шестом этаже вошел мужчина. Саня знает его. Это токарь, что работает с ним в одном цехе. Мужчина протянул дочурке фруктовое мороженое, та принялась его лизать, а мужчина любовался ребенком и улыбался. Странно, Саня всегда считал его жизнь пустой и глупой, а его самого — женатиком и затюканным недоумком. Теперь Саня завидовал ему. Захотелось прийти с работы, захотелось дочурку, захотелось мороженого. Сердце заныло, и в мозгу обозначилось: «Никогда». Саня сквозь слезы посмотрел вверх. Небо в своей глубине удивительно сияло. Вдалеке, наверное за облаками, Саня узрел Церковь. Она окружена Ангелами, и издалека до него доносится легкий аромат чего-то. «Ладана? Разве ладан пахнет жизнью?» Церковь удаляется, и Саня сме-

кает, что внутри ему уже никогда не побывать. На пятом этаже у окна сидит дед. На его носу болтаются очки. Дед пялит подслеповатые глаза в книгу. Саня успел даже разобрать тисненные золотом буквы на переплете: «Дюма». «Блин, я даже “Трех мушкетеров” не прочел! Теперь это тоже никогда!» Поначалу Саню удивила неестественная скорость падения, но вскоре он припомнил, как в одной книжке про войну говорилось о похожем явлении. Солдат видел врага, видел, как тот выстрелил. Видел трассирующую пулю, посланную ему, и все понимал. Понимал, что увернуться уже невозможно, понимал, что это конец. Это — геройская смерть. А у Сани даже смерть будет не геройской, а так, позорной что ли? Смерть... а было бы иначе — Дюма, дочурка, пиво, футбол, мороженое, ужин, постель... к чему теперь считать? Поздно. Осталось жить всего пару этажей. Саня оглянулся посмотреть на место падения. Увидел оградку. Возле нее потирают лапы те двое. Те самые, что были на крыше! «Что сейчас будет!» Саня впервые удивился этой мысли: «Будет». Ему казалось, что ничего уже не будет, никогда. «Конечно, будет. Не за телом же они сюда явились. Зачем им плющеный труп?» Выходит, что все только начинается! Выходит, тело шлепнется, мужики бросят доминошного «козла», бабки у подъезда заголосят, менты набегут. А его — Саню — тем временем эти двое уже уволокут. Утянут туда, откуда сами явились. Никто не узнает. Никто не увидит.

Чем ближе их рыла, тем Сане страшнее. Чем ближе их когти, тем сильнее Саня жмурится, чтобы ничего не видеть. Чего не хватало? Почему не жилось? «Жигулевское», фруктовое, Дюма, церковь... Когти... Тело!

Тело шлепнулось. Саня вздрогнул и проснулся.



Всякое дыхание



Кадило с бубенцами. Время каждения. Пасхальный крестный ход. Разве может торжественная служба обойтись без звонких кадильных бубенцов?

«Христос Воскресе!» — восклицает священник радостно. «Воистину Воскресе!» — вторит народ. И кадило, кажется, радуется, ликует и пытается перекричать и народ, и хор, и священника на своем звонком языке бубенцов. Не умея говорить и петь славу Творцу, оно выражает кадильную радость по-своему, стараясь перезвенеть мощный диаконский альт.

В праздничные дни бывает именно так, но праздники позади. Сегодня Прощеное воскресенье, а завтра первый день Великого поста. Переоблачаем всю церковную утварь в черные постовые одеяния. В пост — не до веселья. Видя потемневший храм и алтарь, сравниваешь их со своей собственной душой. Светлая и радостная, какая-то пасхальная в детстве, с возрастом становится все чернее и чернее.

Чтобы и кадило не отличалось от постовой обстановки, прошу своего единственного помощника,

пономаря, чтеца и звонаря в одном лице, снять с него бубенцы до Пасхи. Алексей Семенович строг к себе, паче — к другим, с пониманием относится к данному благословению и с мыслью о том, что, дескать, нечего им ликовать — плакать надо о грехах, складывает бубенцы в треснувшую старую лампаду и ставит ее на серую грустную хозяйственную полку в алтаре.

Всякий постник знает, как тяжело бывает начинать поститься. На улице непонятная погода. Уже не зима, но еще и не весна. Холодно, промозгло, а в иной год и морозно бывает. В душе примерно то же самое: должно уже посетить чувство скорби о грехах, но его еще нет. Должно отступить все мирское и отвлекающее, чем обычно напичкан последний день масленицы, но все это упорно продолжает гнездиться где-то на задворках сумбурных мыслей.

— Баммм, — глухо ударил большой колокол. Начался первый богослужебный день Великого поста. Наше большое село не отличается крепкой духовностью своих жителей. Это тоже повод для сокрушения в дни особого покаяния. Если подняться на колокольню перед тем, как в храме начнутся молитвословия, то все село, вся его основная часть, будет видна как на ладони. Вот церковная паперть — она пуста. Вот узенькая тропинка, ведущая ко храму, — по ней по своим собачьим делам потрусила куда-то тощая дворняжка. Вот автобусная остановка — здесь несколько более оживленно: кто-то ждет автобуса, кто-то спит «после вчерашнего» прямо на мокрой земле, а какой-то парень пытается извлечь музыкальные звуки из старой гитары, которая, видимо, еще вчера, во время масленично-сивушного разгула, потеряла последнюю ржавую струну. Напротив этого оживления, через дорогу, — гастроном. Спешащие



туда в основном отличаются от выходящих оттуда. На лицах выходящих радостные улыбки, их руки уже не трясутся, а авоськи весело позвякивают, вызывая жадную зависть у страдающих прохожих. Вот и бабы.

Настоящие, классические бабы. Маленькой кучкой неохотно бредут на ферму, где уже давно не платят. Из их уст то и дело доносятся «проявления любви» к своим и еще к чьим-то родителям. Особые трепетные чувства вызывает мать, но не своя, а все больше соседская. Редкие машины, проезжая мимо них, заглушают их неласковую речь, а машины, в свою очередь, глушит печальный постовой колокол.

— Баммм, — Алексей Семенович не пожалел своих сил, и последний удар получился особенным.

Спускаемся вниз. В храме уже ждут пятеро прихожан, стрелки часов показывают восемь. Начинаем постовую утреню. Лишенное праздничных бубенцов, еле слышно, печально брякает цепью кадило в пустом храме. Тщетно призывают селян к покаянию слова Священного Писания. Слушая древнюю Псалтирь, вспоминаю утренний пейзаж — вид с колокольни. Вся картина описана святым автором давным-давно. Вот он, «золотой телец», — в сумке выходящего из гастронома только звенит и булькает. Вот они, и «нечестивые израильтяне» — идолопоклонники, навлекшие на себя гнев Божий, правда, сами этого они не сознают, ведь один лежит на земле не в состоянии что-либо понимать, другому некогда — работа, дом, огород — его «телец». О нас эти священные слова, о нашей невеселой, пропитой, прокуренной и разворованной жизни. О нас.

«Всякое дыхание да хвалит Господа!» — доносится с клироса. Тут же посещает мысль, что, к сожалению, не всякое. Оглядываюсь на пятерых прихожан. Слава Богу, их дыхание сегодня не отравлено ни перегаром, ни махоркой. Их дыхание, к счастью, хвалит своего Творца. Оно — дыхание пятерых, да еще клиросных, да еще пономаря, да еще священника, да еще... нет.

Хотел вспомнить кадило, его хвалу и мягкое фимиамное дыхание, но оно ведь не живое...

И в этот момент от мыслей к реальности возвращает резкий звон бубенцов. «Хвалите Господа с небес!» — продолжает чтец. «Кто, интересно, взял кадило?» — посетила первая мысль. Никто, вот оно висит совершенно спокойно, к тому же и без бубенчиков. А откуда же звон, такой резкий? «Бубенцы!» — догадался я. И действительно, но не сами по себе. Мышка, маленькая мышка, не боясь никого, сидя на лампаде весело перебирает лапками по бубенчикам.

Поистине, всякое дыхание призвано хвалить Бога. Даже маленькой мышке, счастливой и не по-постному веселой серой мышке, понятно, что хвалить Бога своим мышиным дыханием и оставленными без присмотра бубенцами — великое и вечное счастье!



Резолюция



Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от которого попахивало нескромным свекольным.

Так вот. У химика случился самогон. А еще, весьма кстати, в школьной столовке подоспела капуста. Кислая, шипучая! Самая та. С большой перемены Иван Иваныч так и не вернулся. Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и остался. Раньше бы — ничего, был помоложе и не такие горы сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, что ли, и остался всего-то. Не рассчитал силы. Восьмой класс, который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Можно было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. Поэтому в одном углу класса тихонечко

раздают в дурака, в другом — клуб по каким-то еще интересам. Ну, как обычно. Главное — тишина в кабинете.

Ту завучиху за глаза величали Горгоной. Кажется, оттого, что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-таки сожмется. И холодок побежит под волосами такой, будто череп стынет. И, главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну просто не двухсот-, а трехсотпроцентное! Видит все. И везде. Как ухитряется?

Одна старенькая учительница пожалела тогда Иван Иваныча. Собрала повариху, физрука и уборщицу, принесла свой потертый плед и организовала: погрузили вчетвером химика на это покрывальце и снесли подальше от людских глаз, уложили в раздевалке на топчан и прикрыли: «Поспи, сердешный». Тогда в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. В раздевалке уборщица кочегарила старую «голландку». Теплынь! И сны такие чудные на мягком топчане под теплым пледом, красота! Как про эту красоту пронюхала Горгона, никто не знает и посейчас. Только ей зачихалось. Она отчего-то всегда чихала, если кому-нибудь рядом становилось вдруг хорошо. А чтобы унять «апчхи», нужно знать средство...

На другой день рано-рано на планерке Горгона похвасталась директору и всем, что скоро, мол, злоупотреблениям химика придет конец. Она разложила на директорском столе копию рапорта, что еще с вечера отправила в районный отдел. Директор разглядел среди прочего: «Докладывает вам всеми уважаемая... какой пример для молодежи... никакого уважения... алкаша носят, как министра... позорит... все

его презирают за пьянство... спит, и его... порицают. Просьба принять меры». И подпись ее — Горгоны.

Похоже, что чих у нее прошел, она сияла и цвела. Директор прочел и сразу сник. Жалко стало химика, старого приятеля: «Вот тебе на! Всего-то год до пенсии не доработал». Жалко и себя: «Потреплют нервы теперь, проверки пойдут». Жалко и Горгону: «Что же она такая глупая, да еще и злая»! И все, ракета в полете, теперь только жди, где долбанет.

Потянулись грустные дни. Иван Иваныч завязал со свекольным, трудился и ждал. «Ладно бы анонимка, а то вишь как, с подписью... коллектив, мол, порицает». Директор тоже напрягся...

Пролетели осенние каникулы, снежок нападал. Белым-бело так стало по селу! Ночью — красота — небо звездное-звездное и собаки брешут. Сперва одна, где-то за фермой, потом другая — ближе. Стоишь на крыльце задрав голову, а они уже вокруг тебя голосят. Этак вот: «Гав-гав-гав! Ав-ав-ааав!» И подвывают так занятно. Подмораживает. Утром воздух синий-синий. Такой хрупкий, что даже вдыхать его жалко. Снег под валенками — скрип-скрип. Оно уже и Новый год не за горами. Только невесело химику — ответа все нет. Чего-то дождет? А может, и ждать уже не стоит?

Как-то синим утром директор созвал планерку. Житейские вопросы, то-сё. Среди всяких нужных бумаг на его столе покоился официальный конверт. Синий штамп вместо обратного адреса, размытый весь. Это в нем, кажется, должна быть резолюция от начальства. Страшно было его вскрывать. Уволить, ну или «пропесочить»? Теперь с братом-педагогом без церемоний. Уволить, должно, и баста! Директор мрачно разорвал конверт. Узнал знакомый Горгонин



рапорт. Тот самый: «Докладывает вам всеми уважаемая...» Рядом с «шапкой» размашистым почерком наискосок значилось...

Директор разобрал, прослезился, заулыбался. Радостный отправился на урок. Выходя из кабинета оглянулся и бросил собранию: «Вот. А некоторые еще говорят, что начальство у нас сплошь дураки». Про письмо как будто бы забыл. Оно так и осталось валяться на его столе.

Горгона схватила свой рапорт, поправила очочки, присмотрелась к резолюции, задрала вверх указательный палец и, все еще счастливая, зачитала резолюцию вслух: «Товарищ директор! Объясните этой вашей уважаемой, что если пьяного человека коллеги носят, как министра, то уважают как раз именно его. Рекомендуем не тянуть с проработкой».



Лисенок



Дядя моего дружбана служил лесником и как-то преподнес своему племяннику рыжий подарок. Лисенка поселили на балконе в собачьей будке.

Раз после школы приятель предложил:

— Пойдем лисенка смотреть?

Нас — пятиклашек — не перегружали уроками, и я согласился:

— Пойдем!

Запуганное создание со страхом таращило на нас свои дикие глазки. Его шею стягивала петля из засаленной вожжи. Свободный конец лисьей удавки был привязан к балконным перилам. Мы вдвоем глядели в будку. Я присел, потянулся его погладить, но друг меня вовремя удержал:

— Ты чё! Он же дикий! Палец враз оттяпает!

Я попятился, а хозяин в подтверждение своих слов стал тыкать в будку палкой и тявкать по-лисьи:

— Кех-кех! Кех-кех!

Рыженький оскалился, выставил из будки зубастую морду и сам угрожающе затявкал:

— Кех-кех!

— Видал? Дикий зверюга! Он, паразит, весь балкон загадил, отец заставляет с ним гулять, а эта тварь не хочет, боится. Щас сам увидишь.

На улице маслился мартовский снег... Мы оделись, и друг потянул лиса за вожжу. Тот хрипел, упирался. Когда же приятель выдрал его из убежища и потащил через комнату, лисенок сразу юркнул под кровать, затявкал оттуда. Из-под кровати его вытянули, и он нырнул под шкаф. Потом он испугался лифта — забился под лестницу. А когда мы втроем все же очутились на улице, лис схоронился под скамейку у подъезда, запутал свой поводок вокруг скамейкиных ножек и оскалился. На тявканье сбежалась дворовая пацанва. Друг сразу всех предупредил, что дикий «зверюга» только и ждет какого-нибудь ротозея, руку отгрызть. Смотреть на запуганное животное вскоре надоело, и ребятишки разбежались. Мы присели на лавочку, под которой скалился лис, заскучали. Прохожие с интересом разглядывали лесное чудо, а мой друг по-хозяйски тыкал в звериную морду палкой, изображал дрессировщика.

В одном подъезде с моим укротителем соседствовала красивая студентка Машка. Она обычно нам улыбалась и всегда шутила. Теперь она возвращалась из института и остановилась возле «дрессировщика»:

— Что это там у тебя? — она присела. — Ух ты, лисичка!

Приятель растерялся при ней и не успел предупредить Машку, что зверя стоит опасаться. Она тем временем распутала удавку, приняла лисенка на руки и уселась на нашу скамью. Зверенок притих у нее на руках, успокоился, а она сунула лиса за пазуху и запахнула так, что торчала только усталая черно-рыжая



мордочка. Машка гладила зверюгу и рассказывала ему, какой он миленький. Мы с другом поплыли, все смотрели на это лисье преображение. Потом девушка и нам позволила погладить зверушку. Шерсть такая упругая...

* * *

Я бы и не вспомнил того лисенка, если бы однажды, спустя годы, случайно не встретил его укротителя.

Летним вечером пустой троллейбус шуршал по городу. Кондуктор заразительно зевал. На остановке в салон запрыгнул ссутуленный рыжий гражданин. Он забился в уголок на задней площадке и обозрел нас, троих троллейбусных обитателей. Признаться, я не сразу угадал в нем моего школьного приятеля. Желтое лицо заросло щетиной, в руках полупустой вытертый пакет. Но главное — дикий запуганный взгляд.

Линия обесточилась. Троллейбус пискнул, встал и распахнул двери. Я решился подойти:

— Привет, Васёк! Я тебя еле узнал!

— А, это ты... — мне почудилось, что бывший одноклассник оскалился щербатым ртом.

— Сколько лет, — говорю, — вот так встреча! Ну, как живешь? — Я выдал первое, что приходит в голову в таких случаях. Приятель насторожился, оглядел меня и вскинулся:

— Что ты лезешь?! Что вы все ко мне лезете! Идите вы все!

Он просочился мимо меня и юркнул в распахнутую дверь. Больше мы не виделись.

Долго потом гадал, что такое могло приключиться с моим стародавним другом. Не похоже, чтобы он

пил и бродяжил. Билет-то он покупал. Денежку извлекал хоть из драного, но все же из кошелька. Должно быть, где-то работает. Семейный — обручальное кольцо там, где и полагается. А сам все равно напоминает своего забитого лисенка, которого укрощают.

Чужую душу сходу не расшифровать... И мне стало ясно лишь одно — не всем рыжим с Машками везет.



Солдатские поминки



Сегодня счастливый день — мы с Семенычем наслаждаемся плодами церковно-армейского сотрудничества. Один добрый командир решил оказать шефскую помощь нашему восстанавливающемуся храму, и с утра на подмогу прибыло полвзвода солдат. Для того чтобы выгребать из храма строительный мусор, не нужна особая квалификация. Мы, признаться, и сами справились бы с этой нехитрой задачей, но Семеныч решил, что «молодежь надо воспитывать» и что «через церковную лопату солдатики получат не меньше благодати, чем через кадило». Я с ним согласился. Воины с лопатами и носилками принялись за церковное самовоспитание. Они ловко управлялись, сновали с мусором между опорами свежевыстроенных лесов. А леса удались на славу — двадцать метров в высоту. Теперь с них можно легко ремонтировать купол.

Семеныч и я подумали осмотреть стены вверху и, пока солдатики работали, мы, как две неуклюжие обезьяны, медленно вскарабкались на самый верх.

Отсюда наши помощники показались трудолюбивыми муравьями, которые зачем-то нарядились по-военному. С опаской ступаем по настилу. Сучья и гвозди цепляются за полы подрясника. Здесь, наверху, все дышит историей. На облупившихся фресках, под слоем свернувшейся краски, видны следы химического карандаша. Это лет сто тому назад художники наносили разметку. Они же, наверное, и вбили в стены мелкие разметочные гвоздики. Все это цело здесь. Нет уже тех живописцев, и дети их, наверное, уже преставились, а добрая память об их труде тут, нетронутая. Там, где раньше стояли оконные рамы, видны гвозди покрупнее, кованые. Кое-где сохранились фрагменты оконных коробок, причудливо собранные из мелких кусочков дерева. Семеныч — опытный столяр — так и не смог определить породу этих древес. Целый век здесь не ступала нога человека. Всюду — историческая слава. Может быть, за эти гвозди Господь поселил в раю праведных ковалей, а за эти бывшие рамы отпустил столярам их прегрешения. Строителей, штукатуров и каменщиков мы с Семенычем тоже помянули. Интересно, подумалось, как они выглядели, как общались друг с дружкой, откуда были родом? Теперь этого уже не узнать. Может быть, потом, на Страшном Суде, с ними увидимся и успокоим любопытство?

Добрые размышления долго бы еще радовали, но здесь, наверху, сохранилась и горькая историческая прослойка. Еще до возведения лесов вид расстрелянных фресок вверху коробил, а теперь, вблизи, это зрелище просто устрашило и меня, и Семеныча. Давно еще он рассказывал, что во время войны немцы не дошли до нашего села пары десятков километ-



Извлечение пуль из фресок

ров. Для укрепления обороны в селе расквартировались наши родные военные курсанты. Настоятеля к тому времени уже расстреляли, и храм стоял бесхозный. Вот вечерами после занятий курсанты приходили в церковь и на спор — меткие — палили по глазам угодников, что здесь нарисованы. Врага себе представляли. «Святые, вишь ты, им не угодили. Богу, главное, угодили, а им нет». Семеныч вынул из кармана стамеску и принялся выковыривать из иконы старую пулю. Я подобрался к нему поближе и приставил к стене ладонь, чтобы пуля не свалилась на головы наших нынешних трудников-солдат. На лету поймал ее и почувствовал какое-то

грязное отвращение. Сразу припомнились Кузнецовские строки про пулю-дуру:

Вот она, горячая и злая.
На лету поймал ее в кулак:
«Здравствуй, дура, радость-то какая!»
А в ответ я слышу: «Сам дурак!»

Разглядываю пулю, и мысли сами собой уносят меня куда-то далеко, за Урал. Там в войну какой-нибудь подросток стоял у станка в промозглом цеху. Отливал эту пулю и думал: «Как хорошо. Теперь эту пулю наши бойцы загонят в лоб если не самому Гитлеру, то, наверное, какому-нибудь злобному фрицу. Чтоб война скорее кончилась, чтоб братья с фронта вернулись».

Семеныч тем временем наковырял еще десяток таких пуль. Все они отливались, чтобы угостить ненавистных врагов, но воины решили ими распорядиться по-своему. Выходит, что святых угодников они ненавидели больше, чем захватчиков? Только вот за что?

Конечно же тех, кто трудился в тылу в те далекие годы, мы с Семенычем помянули, а как быть со злыми курсантами, я до сих пор не знаю. На каждой службе молимся о нашем русском воинстве, а тут вот язык не повернулся. Их страшные судьбы в селе до сей поры на слуху. Те, кто стрелял в лики, и сами в первом бою получали пули в лицо. Те, которые взорвали храмовую пристройку, сами на минах подорвались. Говорили и о том молодце, что крест сломал и сбросил с купола. Сам, мол, с высоты на фронте сорвался и шею себе сломал. Это все объяснимо и понятно. Не ясно только, что с ними теперь происходит *там*? И как таких воинов поминать?

Спустившись с лесов, мы показали пули нашим военным помощникам. Семеныч поведал им те старые неприятные истории, и они приуныли. Лишь один сержант играл желваками, а его друг ефрейтор выпалил: «Вот ведь гады!» Такие вот получились поминки.



Моя зависть



Попа видно и в рогоже. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось проверять на себе эту народную примету! Во что ты ни нарядись, чем ни прикройся – вот он, поп, смотрите! Вся его рогожка сквозит, светится! Только в примерном случае я оказался к этому как-то особенно не готов.

Провинциальный оперный театр – не шибко-то и греховно, кажется... Мусолю в руках либретто. Уже прозвучал третий звонок, вот-вот вознесется занавес и из оркестровой ямы вулканом плеснет в зал долгожданная увертюра. Сцену заполнят гости и слуги герцога Мантуанского, и меж ними замелькает придворный шут горбун Риголетто. Эта опера мне по душе. Мобильник выключен, и ничто не помешает теперь «вкусить ушами»...

И я вкусил. Правым ухом:

– Вы ведь батюшка, да?

Мой пожилой сосед по всем приметам истинный меломан. Все при нем – бинокль, галстук, запах буфетного коньяка и свежей икры.

— Я всегда замечаю в зале новеньких. Гляжу, ну точно — батюшка и есть. Посоветоваться нужно...

Вопреки ожиданиям, вместо карлика-шута в костюм Риголетто облачен весьма крупный, осанисто-грузный актер. Он явился так, как обычно являются значительные начальники, и зал насторожился. На всякий случай, чтобы не запутаться в персонажах, я заглянул в либретто. Там сообщалось, что сейчас над этим горбатым тщедушным шутом Риголетто господа ехидно оскалятся: «Горбун в купидона решил превратиться!» Посмотрев на сцену, начинаю сомневаться, под силу ли это станет недокормленным дворянам? И вот гости герцога окружили солидного толстого шута, словно куклы приблизились к Карабасу Барабасу. Ниже него на голову, они взглянули свысока, мастерски сыграли ехидство. Было забавно. Но скоро Риголетто запел по-итальянски о своей печали, и на публику навалилась тоска. Мой заскучавший сосед выручил, продолжил советоваться:

— Знаете, кто меня тревожит? Моя сестра. Да, да. А все дело в том, что она — дура. Не обычная дура, нет. Редкая. Раньше она была не такой, работала директором универмага, знаете, такая — все в дом, в семью, мне помогала. К ней только зайди проведать, сразу: на тебе, Коля, икры, на тебе, братец, балычка. Все дефициты у нее перепробовал при совке. Квартирка была неплохая. А потом, когда вышла на пенсию да когда мужа ее Васю похоронили, она совсем рехнулась...

Сзади на нас зашипели «нельзя ли потише». Забывшийся было сосед заметил, что от шепота перешел уже к полному голосу, извинился и отстранился от меня. Это было кстати — на сцене утвердился румяный герцог из Мантуи, в яме замелькали седые

кудри дирижера, и началось знаменитое «Сердце краса-авиц склонно к изме-ене». Распестревшиеся после первого акта декорации будто располагали молодого, жизнерадостного герцога к веселью и праздности. Софит над его головой изобразил солнечный свет, и беззаботность хлынула со сцены. Эх, попрыгунья стрекоза! Пой, веселись! Почудилось, будто на взаправдашней хмельной пирушке поднялся самый веселый. Он вознес над головами стакан, грянул залихватскую, и все те, которые до этого еле-еле везли «Бежал бродяга с Сахалина», вдруг утерли скупую слезу и просияли. Ни один не остался в стороне. Кто-то развернул гармонь, кто-то разбежался подпевать, а прочие рассыпались вприсядку по всей горнице. Украдкой оглядываю публику. Лица ожили, кое-кто ослабил галстук. Вытирают раскрасневшиеся лица, кажется, что запыхались. С этаким оптимизмом и не жить?! Последний аккорд, низкий поклон, и зал взрывается аплодисментами. Браво!

Хорошо, когда весело! Хотя правильнее — весело, когда хорошо.

...Ан, зима катит в глаза.

Свет ослаб, по центру воцарился габаритный шут Риголетто и принялся на итальянском оплакивать свою убиенную красавицу дочь. Джильда была изображена бесподобно! Только вот играя покойницу невозможно совсем не дышать. Сначала публику такая оказия забавляла, но не долго. Зрители снова заскучали и оставили шута одного со своей бедой. Шут с ней, с покойницей. Получилось буквально. Тут мой сосед снова ожил:

— Сестра... Она сейчас у меня гостит. Да. Представляете, у нее была трехкомнатная квартира. Была. Когда ее Вася-то помер, она ее соседям уступила.

Просто так уступила. Своих детей, дескать, нет, а у соседей аж семеро. Им, говорит, нужней. Ну не дура, а? Они, говорит, будут жить и моего Васеньку поминать. А я и на даче помещусь. И ведь поместилась. Ни воды, ни сортира. Печку топить? Самой завтра семьдесят. Даже в гости к ней не могу. Это что, как нужда, так — за угол? Ну, не дура? Как-то был я у нее, зазвала за стол, все что ни есть выставила, а жрать-то там и нечего, сухари да картошка. Мужик по улице проходил, она высунулась в форточку и его зазвала. Садись, говорит, угощайся. Тот видит, что дура, и давай свою копну молотить: займи, мол, по-соседски. А я ж кадровик, людей вижу насквозь — голь, никогда не вернет. И что вы думаете? Всю пенсию отдала. Может, говорит, и этот Васеньку помянет. И как вот, батюшка, мне с такой дурой? Жалко...

В этот миг убиенная шутова Джильда воскресла, артисты выстроились на поклон, зал поднялся. В шуме оваций я не услышал, кого моему собеседнику жалко: сестру ли дуру, покойного ли ее Васеньку или, может, квартиру? Советовать ему я тоже ничего не стал: в торжествующем людском гомоне все равно, думаю, вряд ли что-нибудь разберет. Только без батюшкиного совета этот театрал оставаться не соглашался. Он не сдавался в очереди у гардероба, не сдался и потом, когда мы покинули теплое фойе и вышли на оледенелое крыльцо оперного:

— Нет, вы скажите, как мне быть? Приехала ко мне погостить, перед друзьями стало неудобно. Первый раз консьерж ее за бомжиху принял, не пускал. А теперь она со всеми перезнакомилась и в подъезде и во дворе. Что в ней люди находят? Ходить к ней начали, к телефону вызывают. Достали уже. Я вот пятнадцать лет соседей по лестничной клетке в лицо не знал,

а теперь из-за нее весь двор со мной здоровается. Как в деревне, даже стыдно. Может, ее обратно на дачу проводить, пусть печку топит, а?

Временами я проникался к собеседнику искренним сочувствием. Постоянно размышлял, как же его утешить? Да так, чтобы при этом не обидеть? В мысли то и дело врывалось «Сердце красавиц склонно к измене» и мешало. Наконец я не выдержал, остановился. Собрался признаться собеседнику, что я не знаю, как ему поступать, открыл для этого рот...

Морозцы в ночном городе просто прекрасны! Еловая аллея, что ведет к театру, искрится колючим снежком, вдалеке мерцает огнями ночной проспект. Тишина почти первозданная, как в деревне. Из-под разлапистой заснеженной ели к нам подошла опрятная старушка, учтиво поздоровалась с обоими. Затем взяла моего спутника за руку и, извинившись, отвела в сторонку. Я слышал, как она ему шептала:

— Вот смотрю, Коленька, на тумбочке твои перчатки. Забыл, думаю. А к ночи мороз передали. Твой ревматизм... Пока хватилась, уже и троллейбусы не ходят. Ничего, думаю, я и так. Вот, успела.

Она протянула братцу перчатки, взяла его под руку и попрощалась со мной. Я долго провожал эту парочку глазами. Просто стоял и смотрел вслед, пока руки не окоченели. Свои перчатки я тоже где-то оставил, но мне их ни одна дура не принесла. Потирая ладони, я заскрипел морозным снежком, отправился к дому. В голове звенело «Сердце красавиц», а в сердце ворочалась неожиданная зависть.



На всю жизнь



В городе запылили тополя. Духота и пробки, пробки... Стою. Радио льет в уши какую-то муть. Люди в машинах нервничают, показывают друг дружке разные пальцы. Дремлется. Меня подрезает потертая «японка». «Тойота», без очков не вижу какая. Прижимаюсь, читаю: «Карина»... Так вот она какая, разгадка моего вчерашнего ребуса!

Летнее воскресенье. Заканчивается деревенская литургия и, случается, приносят крестить. Привычная беседа с родителями и крестными о смысле крещения, об их воспитательских обязанностях. Туда же добавляю пару слов и про выбор имени младенцу. Можно было бы присмотреть любое из массы христианских имен в честь достойных подвижников, однако родителям ни одно из набора не глянулось. Они принесли свое.

Карина... Пищащий сверток, красноватое скукоженное личико, среднерусская сельская курносость... Похожа на Машку. «В честь Марии бы Египетской? А?» Только родителям так не любо.

Помню, вчера еще я интересовался, в честь кого они так вот громко нарекли младенца, святых-то Карин в истории Церкви не сыскать? Родители все не признавались, воински настаивали, и только. Конечно, хозяин — барин. В паспорте у этого младенца, Бог даст — дорастет, будет красоваться: «Карина Игоревна Синдюкина».

Впрочем, в святцах таких юмористических вещей все равно не печатают. Некуда деваться, окрестили младенца Екатериной, и все успокоились. В миру одно имя, в церкви другое. Многим их церковное имя пригождается только на отпевании, через много-много лет. От этого грустно...

Но зато теперь я знаю, в честь кого, вернее — чего, нарекают родители своих дочурок! Драная «праворукая» «Тойота»! Большому кораблю — великое плавание! Бог в помощь.

Пробка немного продвинулась. Праворукая японка в ржавых потеках «поцеловала» КрАЗ и встала. Хозяин выскочил, подбежал к водителю грузовика, кричит на него снизу вверх. Тот удивлен, он-то ничего не заметил. Мало ли тех, кто ладит сзади бодаться? Ему гнилую «Карину» не жаль.

Это только сердобольный пономарь Семеныч вчера тужил, печалился о русском младенце Карине: «Бедняжка, это ведь на всю жизнь. Такое... как в лужу...»

Кондиционер вот уже не спасает. Скоро закипим. Некоторых, которые послабее, выталкивают из потока к тротуару. Капот задран, пар валит. Жара... Скорее бы осень, что ли!..

...И грезится мне одна давняя ласковая осень, башкирская деревня в уральской глуши. Мы — студенты — «на картошке». Живем в лагере сами по себе, веселимся. С местными встречаемся только в поле.



Тут уж нами вовсю руководит колхозный бригадир по имени Фанер Завгарович Хусаинов. Его супруга Мамдуда Хусаинова в том же колхозе учетчица. Пожилого шофера, который каждое утро подает нам под погрузку трехтонку, его ровесники зовут Рафиком, ну а мы — молодежь — уважительно величаем его и по батюшке тоже — Рафом Кафелевичем. Сами от смеха давимся, но виду не подаем. Впрочем, однажды терпелка подвела, оплошали. Как-то утром нас всех загнали к местной фельдшерице на осмотр. Та — солидная дама — представилась Флюрой Венеровной, тут-то мы и покатились... Молодые, невдомек нам, что в каждом монастыре свой законный устав, в каждом ауле свои заморочки.

Парюсь в машине, думаю о новых заморочках своей Родины. Многого мне теперь не понять. Возраст? Ну не получается у меня без улыбки вообразить такое: седая Русь, прикатился две тысячи восьмидесятый год, меня уже нет, русская старушка Карина... В селе Собацком посиделки... Мне этакое легко представлять. Я помню себя мальцом на печке, где в хате собрались за мирным столом деды — Никола да Василь и бабки — Устина да Настя. И прочих немало. «Гутарют». А то поминают старые песни, балагурят... Так приятно! Уютно. Случится, затя-анут! — и дремлется, и плачется. А то вдруг гаркнут удалую, и непонятная сила снимает меня с теплой лежанки, я скачу, пляшу вокруг пожилой родни, как умею. За окном зимняя синь. Кот дремлет на буфете, а старшие все поют. Закусывают, подзывают пацана, силятся втиснуть в мою ручонку что-нибудь вкусненькое, а я уже налопался чудесных бабушкиных пирожков, не беру — во всех карманах уже пироги! Обижаются, величают неслухом...

Так вот, будущее. Две тысячи восьмидесятый год. Русь. Село Собацкое. До бабки Карины, что случайно где-то нарыла хот-доги, прикатилась посидеть на лавочку старуха Алина. Пошамкали чипсов, перебрались в хату. Прикоптил русский дедушка Артур Кобяков, следом подтянулся неюный уже хрыч Эдуард Андрющенко. Дальше, для уюта, по кальке — песня юности, голоса на три? Э... э... А как это расписать, на три голоса? Не рисуется. Муть, что теперь в машине сочится из приемника, не хочет раскладываться на голоса или не верится, что эти «песни юности» меня переживут? Так, ладно, что там дальше? Внуки бабушки Алины шалят. Дед Эдик на них вовсе не сердится, подзывает, угощает со стола каким-то вонючим фаст-фудом... Над Собацким плывут облака... За околицу летит моложавое стариковское «йо, комон, эврибоди»...

Хотя сёла будут ли?..

А Русь?..

Всего у нашего Господа вдосталь... И хромые ходят, и слепые видят. Мертвые и те воскресают. Каких только не случается чудес на свете! Вот и славное русское будущее маленькой Карины отчего-то представилось. Может, оно и случится?..

Хотя я уже своими глазами только что видел, куда, бывает, закатится то ржавое, в честь чего нарекают несчастных детишек.



Древо благосенно-лиственное



Пономарь Алексей Семенович стал героем моих рассказов уже давно. Перед читателем он представал и трудником, и советчиком, и молитвенником, и житейским мудрецом. Было однажды, во время интервью меня попросили рассказать про этот литературный персонаж: существует ли такой человек, с которого рисовался мой книжный герой? Не помню, что я тогда ответил, но одно могу утверждать всегда: натурщик у литературного Алексея Семеновича уж больно хорош. Каков он на самом деле? А вот.

Как-то случилось мне с настоящим Алексеем Семеновичем и еще с парой сельских мужичков что-то разгрузить. В ту пору приход наш был небогатым, делали все своими руками. Ну а после трудов решили потрапезничать прямо возле покосившегося тогда храма. Закуска нехитрая: огурчик, хлебушек. Проголодались мы все. Один из мужичков что-то шибко долго завозился у колонки, где все мы уже вымыли руки. Другой его окликнул:

— Слышь, Михалыч, ну ты жрать-то будешь? Или мы без тебя все умнем?

Михалыч в ответ смущенно попенял:

— Ну что ты, при церковных-то людях, да еще и такими словами. Не «жрать», сказал бы, а «кушать» что ли?

Алексей Семенович всегда слыл за человека книжного и от церковной премудрости, помню, решил обоих наших соработников наставить:

— Что же ты, Михалыч, думаешь такое? Да слово «жрать» самое наше, церковное. В Псалтыре так и пишет святой Давид: «пожри Богу жертву хвалы! Воскликните Богу гласом радования». Так что не мудри, иди скорее да садись с нами жрать!

Михалыч благостно потер ладони и уселся.

Потом, когда мы с Семенычем остались наедине, я попытался ему объяснить, что славянское емкое слово «жрать» можно перевести на русский не иначе, как «приносить жертву». Старый добрый Семеныч... как он был удивлен! Признаться, я до сих пор, спустя годы, не уверен в том, понял ли он тогда смысл этого сытного славянского слова. Больше на эту тему мы и не беседовали. Повод не возникал.

Хотя нет, вру. Однова, припомнил-таки, разговорились мы на псалтырную тему. Славянское слово «вкупе», то есть — вместе, купно, он тоже понять не мог. Читал, как понимал: «в купе», с ударением на последний слог. «Жити братии в купе́»... Верно, что царь Давид предвидел купейные вагоны? Побеседовали. Семеныч признался, что после разъяснения ему все открылось. Однако он и по сей день вслух прочитывает: «Се что добро или что красно, но еже жити братии в купе́». Так и видится мне уютное купе, выкрашенное красной краской, проводник разносит братии чай. Се что тебе, не добро ли?



Богоявленский храм села Орлово

Алексей Семенович в жизни стареет, как и все. Теперь его борода вовсе седа без просвета, не та уже и осанка. А сколько он положил сил, чтобы пономарить в красивом восстановленном храме! Чтобы читать свою любимую Псалтирь в окружении грамотных певчих, на новом красивом клиросе!

К слову, с певчими он строг. От радения он их, грешных, сверх меры часто наставляет. Когда демонстративно листает Устав, щурится, поправляет очки. Это только я да он сам знаем, что мелкие буковки Устава он уже лет пять тому, как и в окулярах разглядеть не в силах. Но певицы благоговеют. Это и правильно, всегда человеку нужен рядом

кто-то мудрый и боголюбивый, чтобы чувствовать его предстательство. Я, дескать, не один, не сам, не первый! Вот, передо мной еще Семеныч есть! Да и самому моему «прототипу» нравится такое положение в приходском обществе. А ведь уважение — штука не простая — не купишь. Поди-ка ты, заслужи его.

В алтаре настоящий Алексей Семенович молится искренне. Я иногда украдкой поглядываю на него в такие моменты. Ведь, признаться откровенно, и мне бы хотелось иметь молитвенного о себе предстателя. Его лицо спокойно, взгляд устремлен горé. Губы молитвенно шепчут и одновременно будто улыбаются. А иногда, я наблюдал, глаза начинают эдак вот легонько лучиться, радоваться. Что же созерцает мой старенький пономарь в такие минуты? Может, рай? Может, Ангелов? Иногда Господь сподобляет тому смиренных и кротких...

Как-то, было недавно, в монотонном чтении кафизмы за всенощным расслышал я это самое «пожри Богови жертву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы твоя». И всплыло в памяти то помянутое «Михалыч, не мудри, садись с нами жрать». «Любопытно, — подумалось, — а понимает ли теперь мой постаревший Семеныч, что царь Давид не зовет верных к столу, а только призывает принести Богу жертву хвалы»? Поглядел на него — молится, улыбается, будто что-то перед собою зрит. Порадовался я.

Ну а потом, уже после службы, не выдержал-таки я и решил Семеныча подразнить: «Скажите, — говорю, — Алексей Семеныч, вы всю молодость столярничали и с любым деревом на "ты". Как по-вашему: в акафисте встречается такая фраза — "древо благосеннолиственное". Что это за дерево такое?»

Он немного подумал, помолчал. Ничего определенного не ответил, но видно было, что это дерево, от листвы которого падает благая тень, которое на русский ты иначе не переведешь — не пыжься — его весьма умилило. Клирос дочитывал первый час, за окнами угасал Божий день. Настоящий Семеныч погрузился в свои молитвенные думы. Как всегда в такие минуты, мне было приятно за ним наблюдать. Он медленно крестится, восковое лицо его будто бы лучится. И никто, кроме него самого, не знает, что ему в такие минуты видится. Возможно, вполне возможно, что Господь дает ему видеть рай. Настоящий, светлый. И там — святые. Там теплое купе, полное святой братии, за окном мелькают райские кущи. Там и царь Давид во славе исполняет свою Псалтырь, не исключено даже, что жрет жертву хвалы. Праведникам там сладко, без сомнения. Читывал ведь искренний Семеныч прокимен «правым подобает пахлава». Там, верно, наблюдает он и это самое дерево. Каким оно ему видится, благосеннолиственное?





Сашина философия

Осенний дождь... Когда он не прекращается несколько суток подряд, разбухает обувь. Квартиры пропитаны сыростью, холодные батареи не добавляют уюта. Зонты за ночь не просыхают, а только подвяливаются. А городская суета все равно не тормозится, процветает в любую погоду. Пешеходы спешат – хлюпают обувью, машины шелестят по мокрому асфальту – разбрызгивают лужи...

Изредка дождь сменяется моросью. В такие часы можно накрыться капюшоном и побродить без зонта, присесть на мокрую скамейку в тихом парке и помечтать.

Осенний дождь, мокрый асфальт... Теперь наступает самая пора ремонтировать дороги. Ну, так уж у нас складывается.

К слову, мою аллею асфальтируют. Любимая лавочка сегодня обрелась на «линии фронта». Как раз возле нее коптит бочка со смолой, а сама скамейка попала краем под курган щебня, который бабы в ярких жилетах расшвыривают лопатами. Присаживаюсь на другую сырую лавчонку, что врыта немного поодаль,



и наблюдаю, как сонный мужик таскает ручной каток. Разогнав метлой лужу, бригада сыплет на ее дно щебень, сверху щебень заливают кипящей смолой и зовут сонного мужика. Тот катком трамбует это новообразование и застенчиво улыбается, глядя, как чудесная свежая опухоль парит, застывает на аллее. Технология, однако.

Со стороны чужие оплошности хорошо видны. «Вот, — думаю, — мужик, тебе же все равно приходится закатывать здесь ямы? Приходится, да? Ну, так делай же ты это ровно!» И сам удивляюсь, какая верная философия!

Впервые я услыхал этакое премудрое восприятие бытия, когда познакомился с Сашей.

Добрые глаза, обширная лысина, небольшой рост, огромные кулаки. Сашу уважали. С первого взгляда нельзя было угадать, что он уже на пенсии. Впрочем, по возрасту он и не был пенсионером — заслужил на вредном производстве. Но бездельничать ему не нравилось, и он собрал себе строительную бригаду.

Как-то я наблюдал за работой его бригады, которая возводила капитальное строение. Совсем молодой плотник начинал ладить пол. Он только успел положить и закрепить одну доску, как явился руководитель. Саша хмуро взглянул на работу и приказал плотнику: «Отдирай. Отбрось подальше, потом пригодится. Теперь бери и выпиливай новую». Плотник повиновался. Прикинул рулеткой, выхватил из-за уха карандашный огрызок, нанес метку, ухватил ножовку и — айда, вперед — обед не скоро! Я был неподалеку и видел, как ножовка уходила в сторону от карандашной метки. Саша смотрел и молчал. Когда парень оставил ножовку, бригадир приказал: «Эту доску тоже отложи, потом сгодится. Выпиливай новую». Плотник возмутился: «Ну, ты чё, Сань, ё! Какого, ё!» Саша молча взглянул в плотницкие очи, и возмущения стихли. Парень смиренно взял новую доску, разметил и — айда, дружище, в рот тебе опилки! Ножовка снова проползла мимо карандашной метки. Саша положил руку на молодое плечо, остановил плотника:

— Послушай, Вася, тебе же все равно этот пол стелить? Все равно ведь пилить, правда?

— Ну?

— Ну так пили же ты, зараза, ровно!

Иногда Саша заглядывал в гости. Мы подолгу просиживали в беседке, говорили. Точнее, говорил он. На работе неразговорчивый, со мной он любил поболтать о жизни. Он был тем редким человеком, которого приятно послушать, ведь его биографические истории никогда не повторялись. Детство, школа, армия... Как будто ничего особенного, как у всех. Так, да не так. Саша обладал редкой наблюдательностью, талантом из любого, даже самого пустякового события извлекать себе урок. «Если тебе все равно пилить, то пили ровно», — к примеру, так его дед когда-то учил его отца. Научил ли — неизвестно, но дедов урок, не предназначенный внуку, именно внук уловил и усвоил. Так Саша и жил — дышал окружающей его повсюду мудростью. Видел ее и впитывал. Потом делился.

Известно, что Господь все делает для нашего спасения и разумения истины. Понимаем ли мы это? Саша, казалось, и это понимал.

Перед кончиной он тяжело болел. Лежал безропотно, улыбался приходящим проведать. Он силился делать вид, будто просто отдыхает, вот-вот поднимется и чем-нибудь займется. Только вот подняться так и не случилось. Когда я пришел его причастить, он уже не был похож на того, знакомого мне Сашу. На постели лежал другой человек, желтый, отекший, осипший. Боль мешала ему говорить, исповедоваться, но виду он не подавал. Лицо кривилось от боли, а глаза светились неподдельным оптимизмом. За все Саша Бога благодарил. За радости, за Его помощь, за насыщенную жизнь...

Ему было немногим за пятьдесят.

Теперь покоится Саша под березой, рядом со своим отцом. Конечно, я поминаю его на службах. Но просто так, между делом, куда как чаще: подхожу к калитке — его работа — «упокой, Господи, с праведными», отвинчиваю поливочный кран в церковном дворе — «дай, Боже, Царства Небесного». И куда ни взгляну по селу — то колодец, то чья-нибудь веранда — всюду Сашина рука — «вечную память подай, Господи»...

...Вот и время ползти по домам. Оранжевые жилеты потянулись к фургону-бытовке, и аллея опустела. По расписанию явились октябрьские сумерки. Морось ослабла, и сгустился туман. В почерневших кустах бузины заплакала бездомная осенняя тоска. Холмики свежего асфальта лоснятся в фонарном свете. Зачем они здесь? Выбитая аллея смотрелась без них гораздо выгоднее. С почти что голых лип капает...

Иду. Впереди прямая дорожка теряется в мокрых сумерках, и конца ей не видно! Но я точно знаю, что сколько бы путь ни тянулся, он все равно закончится. Даже если в это и не верить.

И раз уж все равно дороги не миновать, не лучше ли было бы пройти ее по-Сашиному, ровно... до конца.



«...накажи их»



Отец Георгий из села Горянина в душе отъявленный педагог. Он любит детей, а еще больше любит их воспитывать.

Он не ждет приглашения в школу и часто является туда, чтобы поучать. А что тут непонятного? Сам премудрый царь Соломон, кажется, изрек: «Есть ли у тебя дети — накажи их. От юности их нагибай выю их». Отец Георгий уважает Соломонову премудрость и вдохновенно нагибает шеи маленьких лоботрясов. Своих вырастил, кажется, неплохими. Особенно похвастать нечем, но зато все при деле. Осталось воспитать младшенького Давида, который теперь — первоклашка.

Раз в неделю батюшка ведет в десятилетке Закон Божий, проповедует. Обычно он приходит до срока и те педагоги, что не успели улизнуть из учительской до его явления, узнают немало полезного, например из Книги пророка Амоса.

В тот день учительская пустовала, и отец Георгий расслабился на табурете у окна. Он пригрелся возле батареи и почти задремал, когда дверь в помещение

распахнулась и директриса втолкнула в учительскую хулигана и бездельника Ваську.

— Вот, пусть и батюшка на тебя полюбуется! Не успел перейти в седьмой класс, а уже научился прогуливать. А еще на крыльце... кто тебя учил курить?! Говори! Перестань улыбаться и вынь руки из карманов!

Рыжий лохматый Васька изрек «гы-ы», однако руки зачем-то вынул.

— Щас вот как попрошу батюшку, — загрозила директриса, — он тебя наставит на путь истинный.

И уже обращаясь к отцу Георгию, попросила:

— Сделайте хоть вы с ним что-нибудь. От него уже весь наш коллектив стонет. Мы его и в кружки записывали, и в библиотеку умоляли ходить, и петь в хоре отправляли, и так просто внушения делали. Бесполезно. Первый бедокур!

Бедокур парировал: «А чё-о», — и конечности опять засунул в карманы.

— Сейчас батюшка тебе расскажет, как стать добрым и послушным. Правда, батюшка?

Отец Георгий все время безмолвствовал на табурете. Затем немного задумался и встал. Директрису он спросил об известном:

— Священное Писание учит нас хорошему, так ведь?

Она ответила: «Угу».

— Ну так вот, лично я всегда стараюсь исполнить то, чему Писание нас учит. Вот, например, по поводу воспитания в Библии существует однозначное мнение. Царь Соломон говорит, что детей нужно учить «от юности» и пока маленькие — наказывать. Главное в этом деле — успеть. Из Василия вполне получится неплохой гражданин. Пожалуй, прямо сейчас и получится, а зачем тянуть?

Директриса обрадовалась: «Теперь пусть поп немного побухтит, а я передохну», а лоботряс насторожился. Он знал, что в селе отца Георгия считали человеком решительным. Одной ручищей батюшка сгреб бедокура за шею и пригнул ее. А другой стал спокойно расстегивать пояс подрясника — задубевший портупейный ремень.

— Настоящие граждане только так и получаются...

Увы, но в тот раз акт воспитания не состоялся. Директриса не позволила «извергу в черном» сотворить из Васьки человека. Говорят, что Васька и по сей день где-то покуривает и что-то там прогуливает. Или нет, то не Васька прогуливает. Ваську вроде как посадили — бабку, говорят, заколол. Или нет. Это, кажись, Колька был, из девятого класса, ну, который заколол, ну посадили-то... Ой, да мало ли их, которые ремня не нюхали? Неважно, кто. Важно, что эта история ославила отца Георгия как дурного педагога. С той поры школьная администрация воспитывает демократично, без привлечения священника. И однажды, ближе к зиме, даже первоклашка Давид заявил отцу, что бить детей непедагогично. Отец его тут же высек, и ребенку полегчало.


ВЛ80с-1317

Исповедь табашника



Солнышко давно село. Мир остывает, погружается в прохладу. Оживают сверчки, звенят, как сумасшедшие, после смертельного дневного зноя. Пробуждаются лягушки, горланят, зеленые, где-то вдалеке. Воют коты, пищат комары. Природная живность вещает миру о том, что палящий зной никого не сварил и не изжарил.

Всякая дикая тварь исполняется ума и прячется от солнца до вечера прямо, как греки. И только мы — я, Алексей Семеныч и его тезка «Палыч» — целый день провели в трудах. Мы строгали и пилили, пилили и строгали. И вот теперь перед нашим храмом возникла добротная сосновая скамейка. Рядом с ней урна «для бычков». Мы втроем обсиживаем скамью, любуемся урной и не можем надышаться остывающим воздухом. Вот только комары...

Новая урна радует глаз. Так и хочется швырнуть в нее окурок, но мы с Семенычем убежденные некурильщики. И не важно, что поговаривают, будто нет греха в табаке — есть грех в пристрастии к нему.

Каждый для себя этот вопрос решил сам, с одинаковой пользой здоровью.

Со мной и пономарем все ясно, но почему не курит наш сегодняшний соратник и гвоздодер Алексей Павлович? В нашем селе, и вдруг некурящий пенсионер! Семеныч словно угадал мои мысли и полюбопытствовал:

— Палыч, а ты давно не куришь?

— У-у, да почитай, со студенчества. Помню, в юности еще отправили нас от железнодорожного техникума за практикой в Казахстан. Практика, конечно, так, название одно красивое. Собирается нас, лоботрясов, бригада в шесть человек, берем с собой кувалды, ломы, вот такенные гаечные ключи и бредем себе по путям от станции до станции. Где костыль подобьем, где стык подтянем. Вот и вся тебе практика. Бывало, ходим целый день. Кругом степь. Днем солнце прямо как сегодня, гляди сваришься. К вечеру — чуть не мороз. Какая-то зараза в степи воет — не то шакал, не то волк. Жутковато. И, главное, километров на пятьдесят вокруг — ни души. Ходили мы по путям уже, почитай, вторую неделю, когда у нас у всех кончился табачок. Ох, и тяжко стало! Курить охота — жуть. И ни купить, ни стрельнуть негде. Куда ни плюнь — степь да вонючие шпалы. Ну, мы-то молодые — покрепче. Терпим, значит, а вот бригадир наш... Он уже и чертополох пробовал заворачивать, и еще какую-то гадость — все не то. Весь скрючился, страдает. Идет, бедный, стонет: «Курить... курить...» Скулит, страдалец, а где взять? Как-то слышим мы, рельсы загудели — вдалеке сзади нас поезд. Мы решили привал себе устроить. Сошли с путей, расселись на земле, достали паек, закусываем. Бригадир тоже уселся, грызет сухарь без аппетита, давится. Вдруг



как вскочит. Ожил! Скинул с себя сапоги, размотал кумачовые портянки (где и разжился-то такими, уж не знаю!), примотал их на конец лома и — наперерез поезду. Машет ломом, «Стой, — орет, — тормози!» Состав большой, несется, гудит. Этот знай себе бежит

навстречу, флагом своим машет — откуда сила взялась. «Стой» да «стой!» Засвистели тормоза, видать, машинист перепугался. Мало ли что, может, пути разобрали, может, еще что. Метров триста поезд тормозил, а бригадир наш перед паровозом с ломом все задом пятился. Наконец поезд встал. Машинист, пожилой, весь напуганный, спрыгнул, подходит к нашему бригадиру (а тот, может, чуть постарше нас, красивый парень, статный и уже бреется). «Что, — говорит, — стряслось, сынок?» А «сынок» ему: «Извини, отец, закурить нету?» Машинист будто не понял, глазами хлоп, хлоп. А наш ему: «Табачком, говорю, не богаты?»

— Табачком?

— Табачком.

— Значит, табачком! — машинист заскрипел зубами, — табачком, говоришь... Ах ты падла! Сопля! Я тебе щас дам «табачком»! Табашник поганый! — паровозный закатал рукава и — на «табашника». Тот — пятиться:

— Ты чего? Чего... это... ты... — пятился, пятился, да как дунет наутек вдоль поезда. Машинист — за ним...

...Потом поезд свистнул и застучал по своим делам. В зарешеченных окнах урки со смеху лопаются. Немного погодя и курильщик наш воротился — морда набекрень... Вот, почитай, с тех пор я и не курю. Надо сказать, доволен. Сам себе хозяин. Вот помню еще, при Горбачеве, когда с куревом туго было, они — табашники — мать родную на затяжку сменяли бы, предложи. А я вот независимый, как монгол, хожу себе, посвистываю. Да... Это говорят только, что, дескать, бросить трудно, уши горят. Горят, это верно, но бросить однако можно. Думаю, если б он

тогда мне морду не свернул... гм, то есть бригадиру нашему...

Рассказчик осекся, смутился. Мы с Семенычем переглянулись и расхохотались. Долго не могли успокоиться, даже скулы свело от хохота. И смущенный Палыч, глядел на нас, глядел, да и заулыбался...

Запад розово светится. Над селом тянет легким дымком. Ладони с непривычки горят от заноз. Хорошо! Только комары... одолели...



Последнее дело



Два друга проживали в своем селе припеваючи. Окончили ПТУ и просто жили. Их родители тоже приятельствовали, помогали друг дружке, как могли. Соберется Иван Иваныч, Юркин отец, на рыбалку, обязательно позовет с собой Петра Михалыча — Сашкиного отчима. С вечера сговорятся между собой, точно партизаны, соберутся потемну, до петухов, выволокут старый мотороллер Петра Михалыча подальше от домов, чтоб народ не будить, заведут. Только их и видели. Если же, случится, соберется Петр Михалыч баню топить, тут же оповещает Иван Иваныча. Вместе натаскают воды с реки, наносят дров, растопят каменку и пропадают там. Сначала парятся, потом расползаются по домам. Ну а с утра поправляются — святое дело. Так и живут — не разлей вода. И всегда находится о чем поболтать за рюмочкой:

— Ты вот, Петя, все на старой моторашке тарахтишь, а мой Юрка, сам небось видел, уже на «Яве» катается.

— Хе, удивил! Слыхал небось вчера музон на всю улицу? Это Сашка маг японский купил. Подороже твоей «Явы» станет.

— Да, дети стали лучше нас жить, зарабатывают.

— При Горбаче любой дурак заработает.

— Ну...

Дети тем временем отсыпались. Обычно они сидят без дела по нескольку дней, потом собираются. Говорят, что едут дежурить в город. Пропадают на целую ночь, являются под утро и дрыхнут. Родители радуются, думают, что их сыновья охранники на заводе, что начальство их уважает, платит, как себе.

На ранней заре вернулись Юрка с Сашкой, изрядно потрепанные. Их матери утром в сельпо хвастались товаркам:

— Наши пришли с дежурства — герои! Говорят, в заводскую кассу в их смену лезли жулики. Так они эту кассу отстояли. Теперь, может, премию им, а может, и наградят.

Бабы в очереди советовали соглашаться на премию. От наград теперь какая корысть?

Вообще Юрку и Сашку можно назвать честными парнями. Хотя бы за то, что врать они не любили. Это жизнь-злодейка их постоянно вынуждала брехать. То, что кассу завода ночью безуспешно пытались обчистить, было хрустальной правдой. Ложью было лишь то, что они эту кассу защищали. На самом деле это именно от их лукавого посещения заводская охрана уберегла казну. Ох, и всыпали им сторожа! Еле живых отпустили. Зато по-простому, без протоколов.

Друзья отсыпались до полудня. Потом Юрка заехал за Сашкой, тот собрался. Взяли пива, взгромоздили ноющие кости на мотоцикл и поехали «на завод». Так они назвали дальние пруды. Окунули в воду битые телеса и прикидывали, как жить дальше. В городе пока лучше не светиться...

Ловили наших приятелей уже не раз. Только им как-то все время везло с теми, кто их ловил. То предупреждали их, то пугали, а то, случалось, и просто жалели, отпускали.

Понятно, что жуликами не рождаются. Становление происходило постепенно. Сначала, в детстве, пробовали в школьной раздевалке шевелить по карманам. Получались реки газировки. Нравилось. Пробовали беспокоить учительские ридикюли после аванса. Получались импортные кроссовки и джинсы. Прочие пацаны недолюбливали эту парочку, подозревали, когда что-нибудь у кого-то пропадало. Случалось, и били. Но те в ответ запирались молча, озлоблялись и закалялись от пинков и тумаков. Общения друг с другом им вполне хватало. Как-то, уже в ПТУ, Юрка с Сашкой задумали стянуть в спортивной раздевалке физруковские часы. Физрук оказался мужиком расторопным, прихватил приятелей с поличным и познакомил со старой житейской мудростью. Плечистый и рослый, он сгреб в каждую руку по жулику. Вынес за шиворот на крыльцо и по очереди отправил их своим коленом в сугроб. Когда из сугроба высунулись стыдливые физиономии, он их почти по-братски наставил: «Сколько веревочке ни виться… посадят вас, дураков». Наставление друзья восприняли своеобразно и с тех пор, когда что-нибудь тырили, страшно боялись и дрожали.

* * * .

Пиво кончилось, солнце закраснело на западе. Битые молодцы оделись и порешили меж собой так: скажем родителям, что уволились. Поругались с начальством, что обещанную премию не дают, хлопнули дверью и ушли. Предки — люди темные — всему поверят.

Родители — обыкновенные крестьяне — и впрямь верили всему, что выдумывали дети. Психология воспитания... что это? До нее ли, когда у отцов уборка сменяет сев, рыбалка — баню. А матери — они и в Африке матери.

Парни подкатили к Сашкиному дому, заволокли мотоцикл во двор. Увидали над баней курящуюся трубу и поспешили туда. Иван Иваныч ворожил у каменки, в предбаннике хозяйничал Петр Михалыч. Он резал сальце, хлеб, первые помидорчики, ну и разливал.

— А! Вот и сыны явились! Иван, бросай печку, иди, выпьем за наших героев!

Из бани показалось красное лицо Иван Иваныча, он протиснулся в узкую дверь и уселся подле хозяина:

— Ну что, герои, мы тут ваш подвиг решили отметить, премию. Дуйте в дом за стаканами и присоединяйтесь.

Вместе со стаканами парни захватили и магнитолу. Через пару минут в предбаннике душе стало тесно. Гремела музыка, стучали стопки.

— Что-то вы, хлопцы, какие-то молчаливые, задумчивые. Премию-то получили? Сколько? — поинтересовался Петр Михалыч.

После стопки врать стало легко, и Сашка тут же нашелся:

— Ты что, бать, начальство теперь зажралось. На простых людей всем плевать. Если ты не кооператор, руки не подадут.

На отцовских лицах нарисовалось недоумение. Юрка разъяснил:

— Надоело нам буржуйское добро караулить. Ни почета тебе, ни уважения. Мы жизнью рисковали, а нам... Уволились мы.

Отцы разом возмутились: «Вот сволочи!»

— А ну, сын, где мои галоши?! — взвился Иван Иваныч, — выволакивай «Яву», щас съездим разберемся!

Сашка вмешался:

— Вы что, дядь Вань! Мы же сказали, что рассчитались. Всё. Юрка и выпил уже, куда ему за руль!

Иван Иваныч сел, задумался.

— И то правда... — снял галоши, помолчал.

— Никогда начальство о простых работягах не пеклось. Ну, пусть теперь локти кусают. Где теперь себе таких охранников найдут. Чтоб как свое...

— Точно, Ваня, — разрешился Петр Михалыч, — они пусть локти грызут, а мы гулять будем. Выпить у нас и без их премии есть, банька вот-вот подойдет. Наливай.

И началось. Компания парилась, выпивала и закусывала. Из парной мужики выскакивали на ночной огород, где уже остыла в кадушке вода, обливались. Заботы и обиды прошлого дня прошли, улетучились. Уже за полночь магнитофон надоел. Юркин отец приволок из хаты довоенную тальянку. Когда компании наскучило пьяно везти «Черного ворона», Иван Иваныч вдруг защекотал свою тальянку под бока — уследи-ка за пальцами:

Кыны-кыны,
Кыны-кыны,
Кыны-кыны,
Хыр-р, хыр-р!

Кыны-кыны,
Кыны-кыны,
Кыны-кыны,
Хыр-р, хыр-р!

В конце «содержательной» музыкальной фразы такие гармони от чего-то обязательно хрюкают.

— Хоп-хоп!

— Давай-давай!

Соседям в ту ночь долго не спалось, но на гуляк в селе в те времена еще не злились. Ведь раз у них весело, значит есть причина.

Когда встало солнце, отцы успокоились в предбаннике. Они уложили косматые головы прямо на стол и захрапели. Сашкина мать загремела на дворе подойником. Было слышно, как сама себе она бормочет под нос, ругает гуляк бездельниками и, кажется, алкашами. По улице погнали коров, кнут пастуха сухо щелкал. Потом Сашка провожал Юрку к его дому, до кровати. Того сильно штормило.

* * *

Ровесник двадцатого века дед Семен неизменно пролеживал на печи свой тулуп. Старик лежал уже лет пять, спускался все реже и реже. Самого деда такой расклад тяготил. Он устал от жизни, но гораздо больше — от безделья. Постоянно просил у внука — Иван Иваныча — хоть какой-нибудь работы. Ванька (так привычно звал его старик) с радостью нагрузил бы деда, но у того, к сожалению, со временем прибавлялась лишь тяга к работе, а силы все таяли и таяли. Правда, у старого были свои обязанности: чтоб не лежал впустую, Иван Иваныч подавал ему на печь то ржавую сломанную косу наточить, но ножовку развести. Дед с удовольствием возил по косе наждачным бруском, ощущал свою причастность к хозяйству и к жизни. Его память сохраняла подробные переживания детства, первой мировой, раскулачки, отечественной и много-много всего. Однако слушать

его мемуары охотников не находилось — вся семья знала их слишком хорошо. Иногда старый забывался:

— Бывало, помню, кхе-кхе, до войны ишо...

— Помолчи, старый! — раздавалось отовсюду, где пребывала незадачливая аудитория. Дед смущенно оглаживал желтую бороду, кряхтел и замолкал.

* * *

Когда Сашка опустил напившегося Юрку на кровать, дед почуял со своей печи беззащитного слушателя, который не станет возражать. С лежанки показалась его борода. Старик оглядел двоих приятелей, его глазки сузились. Должно быть, рот под бородой расплылся в улыбке — этого было не видно.

— Что, набрались? — лукавые глазки деда Семена добродушно заблестели. — Голова поди трешшыт? Хе-хе-хе...

Сашка, присевший возле товарища, был трезвее, попробовал отмахнуться:

— Отстань, старый.

— Гм, кхе-кхе... молодой ты ишо, бестолковый, хе-хе, грешник. Много понимаешь...

— Кто это тут грешник? — возмутился Сашка. — Сам-то праведник, что ли?

— Не кипятись, не кипятись, и я грешник... хе-хе! Кроме Бога-то, все мы... А чево, не хочется грешником-то, ай как?

Сашка решил смолчать в надежде, что старик заткнется, а того будто прорвало:

— Помню, до войны ишо, служил в нашей церкви отец Афанасий, Царство ему Небесное, так он много про грешников сказывал... про праведников тож, про угодничков. Да... Комсомольцы его в проруби

утопили. Да... На Крещение Господне, — дед приостановился, всхлипнул, вытер влажный глаз:

— Я тогда вроде вас был, ай нет, постарше. Иду со свинарника, гляжу, батюшка от службы возвращается. Я поздоровкался, благословился. Тут подбежали энти, комсомол-то, наган ему к затылку и потащили на Дон, где он вот только водичку святил. «Ну что, — говорят, — поп! Спасет тебя твоя крещенская вода? Щас поглядим. Отрекайся, а то топить станем». — Дед примолк, тихонько захныкал. Сашка залюбопытствовал:

— Ну и что поп, отрекся?

— Куды там! Он им от Писания что-то. Мол, верующий во Христа не умрет вовек. А они ему: «Ах ты, поповская морда! Не умрет, говоришь?!» — и в прорубь его, в крещенскую водичку. Только ноги мелькнули. А Дон в ту пору не то, как ноне, — быстрый... Плюнули энти в воду и пошли допивать. Потом и церкву грабить зачали. Я все видал, помню. Иду мимо батюшкиной хаты, гляжу — попадья у ворот мужа дожидается, ребятишки в снегу играются. Она ко мне: «Не видал ли, Семен, отца Афанасия? Долго что не идет-то...» Я расплакался: «Не жди, говорю, матушка, не придет...»

Старик захлюпал носом. Сашка не утерпел, поинтересовался, что было потом:

— Дед, а комсомольцы?

— А что они, комсомольцы. Известно. Нализались и пошли церкву нашу грабить. Много добра повыносили. Люди всем миром на утварь собирали, по копеечке, по полушке. Там в алтаре и чаша была золотая, с каменьями, и кресты, и ризы на образах золотые. Всё энти тогда повынесли. Один, тогда было, из револьвера по угодникам стрелял, что на стенах писаны.

Все в лики метил, в глаза. Другой тогда же полез на купол, крест своротил и на землю скинул...

— Ну и?..

— Что?.. Кхе-кхе... Всех Господь прибрал... Скорехонько. Который батюшку утопил, в ту же зиму на тракторе под лед провалился. Который в лики стрелял, в лицо две пули получил. Участковый, ай энтот, полномочный тогда лютый был, в краже колхозного зерна его заподозрил. Ну и не разобрамшись, прямо на сходе, две пули ему из нагана — промеж глаз. Понятно, пьяный. А который крест своротил, тот однова забрался на столб лепродуктор вешать и сорвался. С полгода, кажись, со сломанным хребтом провалялся. И отошел без покаяния... Ох...

— Странные какие-то случаи... — удивились приятели.

— Дык... не случаи, хлопчики. Бог ведь их наказал, окаянных. Как же это можно Его Самого поносить и дом Его грабить? Это он кротким христианам — Милостивый Отец, а изуверам — ох, не дай Бог что такое...

Здесь у деда Семена исчерпались на разговоре все силы, он умолк. Минуту спустя с печи послышался его тихий храп.

* * *

Поправляться «после вчерашнего» приятели любили у реки. У них имелось свое записное место подальше от людских глаз: между диким пляжем и крутым берегом змеилась узкая, поросшая орешником и колючей ежевикой балка. Местные туда не заглядывали: «На кой? Комаров с ужами не видали, что ль?» Но если заставить себя продраться сквозь заросли вниз, к реке, то можно приятно удивиться:

сырой овраг завершался узким пляжиком, скрытым с боков высокими берегами. Этакая миниатюрная черноморская бухта. Сашка и Юрка сидели там отшельниками, поправлялись и молчали. Из голов не выходила повесть деда Семена. Только не о страшной Божьей каре они размышляли. Хворые головы грезили церковным золотом. Каменья, кресты, иконы, чаши...

— Как мы сами не доперли? Давно надо было бы в нашей церкви «подежурить». Золото лежит без толку. Ни охраны, ни ментов...

— Точно. Купим по машине. Я «девятку» хочу, как у комсорга, — пропел Сашка.

— Ну и дурак! — отрезал Юрка. — Если там и правда, как дед говорит, то мы по «Мерседесу» отхватим. Понял?

— Понял...

Парни бредили «Мерседесами» до заката. По Дону шли корабли. Буксиры натужно толкали груженные щебнем баржи против течения, коптили солярой небо, будто кряхтели от натуги. От каждого судна разбегались волны. Они лизали приятелям пятки, баюкали шелестом. Вода у берега на время мутнела... Засветились бакены. На середине реки, справа и слева, закраснели точками их глазки. За спиной, на круче, замигал зеленый маячок. Темно-синий Дон не спал. Вдали, за речным поворотом, кто-то на корабле баловался прожектором. Его луч щупал сельские хаты на левом берегу и бескрайний черный лес на правом. Медленно наступала короткая летняя ночь.

Юрка хранил свой рабочий инвентарь под сиденьем мотоцикла. Там покоился набор отмычек, монтировка и пара фонариков, на всякий пожарный. Странно, но «Ява» не завелась. Возиться с ней

приятели не стали — бросили до утра в орешнике, забрали инструмент и двинули пешком. Храм высился на лужайке у кладбища, на сельском отшибе. Тати перемахнули через ограду и разбили фонарь на столбе у паперти. Сковырнуть наружный замок оказалось сущей безделицей. Они вошли в притвор. Здесь немногим дольше провозились со второй дверью, но и та вскоре сдалась. Войдя внутрь, парни оробели — фонари не доставали жидкими лучиками ни до верхних сводов, ни до алтаря. Темно, тихо. Каждый шорох и скрип гулко виснет где-то рядом. Пробирает дрожь. Сашка заскулил:

— Слышь, Юрец, может, ну его... давай домой, а?

— Придурок, тут рядом золото...

Воры осторожными мелкими шажками двинулись в глубь храма. Когда фонарные лучи уперлись в иконостас, оба осмелели. Пинком снесли царские врата и ввалились в алтарь. После службы священник уезжал в город. Чехлил священную утварь на жертвеннике и накрывал престол. Приятели сорвали престольную накидку, расстелили ее на полу и принялись укладывать на нее все блестящее, что отыскивалось. Туда попало все, о чем говорил дед Семен: и напрестольный крест, и чаша. Евангелие в блестящем окладе, кое-что такое, чему приятели и названия не знали. Вот только икон с каменьями жулики не нашли. Ну и так довольно. Завязали накидку с добром в узел и решили смываться. Случайно Сашкин фонарик скользнул по застекленному образу Спасителя на горнем месте и выскользнул из задрожавшей руки:

— Юрец, Он смотрит!!!

Юрец поднял фонарь, вложил в трясущуюся Сашкину руку.

– Ты чё, сдурел? Кто смотрит? – и осветил грозный лик Царя Славы. На мгновение ему померещилось, что Сашка не врет. Спаситель смотрел на разбойников строго, прямо в глаза. Этак, будто через окно с солнечной улицы в темную хату. Юрка переборол себя:

– Не дрейфь. Это всего-навсего доска. Смотри! – он схватил стоящую поблизости диаконскую свечу и треснул по иконе. Стекло брызнуло во все стороны, и лик Спасителя показался приятелям еще более суровым. По Юркиной спине пробежали мурашки. Он собрал всю свою волю и принялся лупить деревянной диаконской свечой по иконе, пока та не упала ликом вниз. Тут страх немного отпустил. Сашка склонился над побитым образом и прошипел:

– Ну чё, догляделся?

Потом пнул икону так, что полетели щепки.

* * *

Знойным днем, когда в городе под ногами плавится асфальт, в маленькую антикварную лавочку у автостанции вошли два парня в черных очках. Посетителей не было, если не считать одного великовозрастного типа с панковской стрижкой. Впрочем, и он скоро убрался. Когда за ним затворилась дверь, Юрка приподнял очки и что-то шепнул маленькому лысому торговцу, кивнул на дорожную сумку в Сашкиных руках. Лысый пригласил обоих в подсобку. Там он уселся за обшарпанный верстак, какие бывают в часовых мастерских, включил лампу, нацепил окуляр:

– Ну-с, где же ваше золотишко?

Сашка распахнул сумку и с грохотом вывалил на стол скупщика все ее содержимое. Лысый взял было

крест, поднес его поближе к свету, но тут же фыркнул и отложил. То же самое он проделал с чашей и прочими предметами.

— Издеваетесь, господа-товарищи? Где золото? Это же штамповка, конвейер.

Лавочник царапнул шилом по окладу Евангелия:

– Это даже не позолота. Так, ерунда какая-то.

Приятели попытались возразить, но скупщик горячился все больше и больше:

– Иди-ка сюда, погляди! – поманил пальцем Юрку.

Юрка склонился над верстаком, лысый ткнул коротким пальцем в гравировку на кресте:

– Читай, если грамотный!

Юрка промямлил:

– Тысяча девятьсот восемьдесят восемь. Тысяча лет крещения Руси.

– А здесь? – торговец повернул крест торцом.

– Софрино. Мастерские Московской Патриархии.

Приятели молчали, конфузились.

– Я у вас, конечно, не буду спрашивать, где вы все это спер... надыбали. Вот только чую, что пахнет здесь неладным. Забирайте свое добро и проваливайте. Это не стоит ни шиша! Вы у меня не были. Если что – сдам. Ха! «Золотишко берете?» Тоже мне...

Понурые приятели побрели к автостанции. Взяли билеты. До автобуса оставалось немного времени, и они заглянули в буфет. После ста граммов под карамельку стало не так досадно. Они сидели на парапете у посадочной платформы, курили и смотрели, как при полном безветрии дым виснет в жарком воздухе. Душила обида. Хотелось плакать. В сизом дыму расплывались силуэты «Мерседесов». За стоянкой ЛАЗов валялась дохлая собака и над ней колдовали мухи.

До посадки оставалось еще минут семь, когда друзья решили посетить уборную. Общественный сортир высился метрах в двухстах от платформы, возле гаражей. Парни вошли в зловонное помещение. Там на корточках сидела грязная панкота и попыхивала самокрутками. Среди них был и тот, с которым они виделись в антикварной лавчонке. Он обрадовался вошедшим, как родной маме:

— Зырь, братва, башли сами к нам пришли!

Обкуренные панки вмиг окружили вошедших:

— Чё, сынки, кармашки выворачиваем!

Сзади Сашки выход загородило помятое существо с зеленым ирокезом. Сашка стремительно развернулся, боднул его в переносицу, путь на секунду открылся. Оба друга выскочили из сортира и бросились в гаражную улочку. Панки опомнились и кинулись за ними. На бегу они извлекали из-за пазух арматуру, цепи и кастеты. Сашка с Юркой недолго петляли в незнакомом гаражном лабиринте, скоро оказались в кирпичном тупике. Они вжались спинами в глухую стену и с ужасом смотрели на приближающуюся вооруженную толпу.

— Ну вы и бегаете. Спортсмены что ли? — сквозь одышку изрек тот, которого видели в лавочке. — Хряка нашего покалечили, козлы, придется ответить.

Хряк улыбался. Кровь из разбитого носа капала на выгоревший череп на его растянутой футболке. В его руке блестел стальной прут.

— Мы же вас, козлов, срисовали, когда вы в лавку вошли. Сдавать что-то приезжали, значит бабки есть. Есть?

Приятели отрицательно замотали головами.

— Они еще и дядю решили надуть? Мама не учила, что обманывать нехорошо? А ну, Хряк, пошмонай.

Хряк подскочил к Юрке, запустил руку в его карман. Юрка его оттолкнул.

— Ах ты, падла! — и Хряк стукнул Юрца прутом по переносице. Тот упал.

— Гы-гы! — Хряк склонился над Юркой, схватил его за волосы и несколько раз остервенело треснул по лицу своим прутом:

— Гы-гы! Он, кажись, сдох!

Обезумевший Сашка бросился сквозь толпу, но панки сбили его с ног и пинали, пока не устали. Переведя дух, Хряк плюнул на окровавленный Сашкин труп и процедил:

— Ну че, козел, добегался? — Пнул его еще раз.

Убийцы обыскали мертвецов, выскребли из их карманов мелочь, забрали сумку и отправились отдыхать в парк.

Знойным днем всех манило в тенёк.



Сеятели бисера



Ну никак не получается вспомнить этого человека. Где я мог его раньше встречать? Мы сидим с ним бок о бок на остановке уже минут двадцать. Транспорт в день Пасхи ходит по-праздничному — почти никак. Вся огромная крещеная страна отдыхает. Праздник Воскресения Христова — праздник Жизни — большинство почему-то отмечают на кладбищах, хотя в церквях прошлой ночью было куда как веселее: крестные ходы, яркий свет, торжественные окрыляющие гимны и почти никакого чтения... Богослужебный язык, самый богатый и поэтичный, в прошлую ночь будто обнищал. Да и какому языку под силу хотя бы частично передать всю полноту нынешнего торжества? Христос Воскресе! Воистину Воскресе! После такого восклицания все слова будто теряют вес.

Сижу на холодной скамье. Над городом плывет вязкий густой звон со всех окрестных колоколен. Мурлыкаю про себя «Христос воскресе из мертвых» киевского распева, как ночью на службе запало. Стараюсь не слушать собеседника, который все бубнит

и бубнит. Где же я мог с ним раньше встречаться?.. Солнышко, с восхода алое, теперь порыжело, играет на шеломах церквей, забрасывает пасхальными зайчиками улицы. Они то и дело падают на прапорщицкие звезды моего неугомонного соседа. Помятая пилотка, засаленная тельняшка, сверлящий взгляд всесветного господина участкового. На коленях — драная кожаная папка.

— Как вы, попы, одолели! Житья от вас людям нет! — он весьма эмоционален. — Звон подняли во всех церквях! Ни отдохнуть людям, ни выспаться! Такой праздник, сейчас бы сидеть на кладбище да поминать, как положено, а вы тут устроили! Из-за ваших идиотских служб на вызов вот еду, в такой день!

Поначалу мне хотелось его ободрить, рассказать про праздник, чтобы и ему стало радостно, но он сразу отгородился: я его поприветствовал: «Христос Воскресе!» Он вздрогнул, как от боли, и ответил: «Пошел ты!» Мне его сразу стало жалко. Заметно было, что прапорщик мается. Праздник он понимает по-своему, ну и чувствует себя сообразно пониманию. Побыл бы на службе, может, и радовался бы.

— Это власть во всем виновата. Дала вам, попам, свободу, вот вы и устроили Варфоломеевскую ночь! Церковь как раз напротив моих окон. Раньше хорошо было, пока там склад квартировал, а нынче всю ночь — дзынь да дзынь! Мы с братом — только к столу, а спокойно ни выпить, ни поговорить, звон глушит. По телеку — то же... Потом звенеть кончили. Ну все, думаем, выпьем, отдохнем. А тут бабки под окнами какие-то непонятные песни стали орать!

Я пытался ему объяснить смысл «каких-то непонятных песен» и что воспевали бабки в этот главный праздничный день, но оказалось, что о празднике он и сам знает немало. Во всяком случае меня он снова слушать не стал:

— Что я, Пасху что ли не знаю!? Мы ее всю жизнь отмечаем. Всю жизнь, испокон веку яйца красим и на кладбище ходим бух... то есть поминать! Всегда без ваших поповских штучек обходились!

Постепенно ощущение того, что мы могли раньше встречаться, сменилось другим. Мне стало казаться, что раньше я его знавал. Или даже знал не его самого, а о нем. А может быть, читал про него или слышал? Округлая фигурка, маленький росток. Не новый и несвежий повседневный мундир, расстегнутый «до пупа». Понимаю, что другой, парадный, ему не подошел бы. И эта речь, уверенная в честности и правильности своего автора...

— Конечно, теперь у попов свобода! — он даже минуту не может помолчать. — Загораю с тобой вот на остановке из-за ваших прихотей, вместо того чтоб... Эх!..

— Каких еще наших прихотей?

— А таких! На моем участке тоже теперь церковь есть. Так ваши верующие около нее отмечали всю ночь. Потом один другого по башке пустой бутылкой — хрясь! Теперь вот езжай, товарищ прапорщик, протокол пиши.

— Так это, наверное, не наши верующие были, — говорю, — нашим некогда было водку трескать. У них служба шла ночью, а перед ней пост длинный, устали все. И потом, наши-то, они не около церкви, а внутри. Те, кто возле, скорее всего не наши.

На его опухшем лице обозначилась усталая улыбка:



— Вечно вы, попы, выкручиваетесь! «Наши, не наши»! Не было бы ваших дурацких служб, я бы тоже сейчас праздновал! Вот и все!

Тоскливое, совсем не праздничное общение у нас склеилось. Чтобы окончательно не скиснуть, про себя пою «Христос Воскресе». Колокольни, одна за другой, стихают. С городских кладбищ потянулись первые отметившие, а автобуса все нет. Созерцаю

профиль участкового, и меня не покидает ощущение старого заочного знакомства с ним. Маленькие глазки утонули в мясистом лице, над ними рыжие незаметные брови. Толстые уши будто висят из-под пилотки, над бодро шлепающими губами — круглый объемный нос... Может быть, вовсе и не его я знавал, не о нем читал? Может быть, какой-то хрестоматийный герой литературы на него похож? Или он на этого героя? Перебираю в голове картотеку знаменитых персонажей. Гоголевский Бульба? Глупое сравнение. Тогда скорее уж Пацюк. Вглядываюсь в участкового. Нет, не тянет на Пацюка. Размах не тот. Унтер Пришибеев? Нет, слабоват характер. Обломов? Вряд ли. Обломов хотя и литературный, но все же — главный герой, образцовый характер, родоначальник целого явления — обломовщины. А здесь скорее что-то второстепенное, даже закадровое, междустрочное. Глупые мысли в такой-то праздник. Христо-ос Воскресе-е из-з ме-е-ертвых... Мой «междустрочный» герой неутомим. Опухший, он все треплет и треплет непонятно к чему пришитым языком:

— Народ обобрали! Заводы поразвалили! Церквей тут понастроили, понимаешь!

В окне подъезжающего автобуса светится пасхальным счастьем лик немолодого уже монаха отца Сильвестра. Мой собеседник увидал это и обрадовался такому явлению больше, чем самому автобусу. Конечно же он, как всегда, прав:

— Вот зараза! И тут попы! Раньше и автобусы чаще ходили, а теперь из-за вашего брата...

Он поднялся и покатился к автобусу на своих круглых ножках. Жировые складки на его толстой шее как-то по-праздничному весело затряслись. Ехать

этим же рейсом, в его компании, мне не захотелось. К тому же отец Сильвестр уже выпрыгнул из автобуса, заметил меня, замахал рукой и вприпрыжку побежал к моей скамейке:

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе! — мы облобызались.

— Ничего не говори, — затараторил он, — сейчас я тебе сам кое-что расскажу. У нас ночью, на службе, наши все видали... в нашем храме... короче, слушай. Народу у нас на ночной, ну ты знаешь, как в соборето — не продохнуть. Собрал я воскресную школу — ребятишек, преподавателей, родственничков, что в гости приехали к праздничку, и поставил у малого алтаря. Тут посвободнее, думаю, не затопчут. Открыл перед крестным ходом царские врата в малом алтаре, а сам к братии побежал, в большой. Там на Пасху служим все, ну ты знаешь. Отслужили, как обычно, радуемся. Настоятель меня поставил крест народу давать. Все так и цветут! Ясное дело, Христос воскрес! Подходят и ребятишки мои, воскреснички. Поцеловали крест, столпились и пытают, почему, дескать, все наши батюшки служили в красном облачении? Разве не в белом положено? Ну, я объясняю, что, мол, по уставу в красном-то, как и надо на Пасху, а как же. Они и говорят: а в малом алтаре Ангелы, которые служили, все в белое облачение были одеты. Представляешь, какая служба у нас в соборе была?! Все, говорят, кто у малого алтаря стоял, все видали ангельскую службу. Я попросил их, каждого, нарисовать, какая эта служба была. Сам пока пошел, разоблачился. Выхожу из алтаря, они мне и показывают. У всех одинаковые рисунки получились! Вот радость-то! Бегаю теперь, всем эту новость разношу. Не все, правда, одобряют. А то еще и посмеиваются. Да это и понят-

но. Я не горюю. Господь ведь говорил в Евангелии про свиней, ну ты знаешь, читал? Чтобы, дескать, апостолы не разбрасывали драгоценные дары — бисер — перед свиньями. Ногами, дескать, эти свиньи все истопчут и ничего не поймут... Ладно, дальше, вон в ту церковь побегу, в Успенскую, похристосуюсь.

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

Он убежал, точнее, ускакал на радости. Славная встреча. И новость добрая, и разъяснил мне отец Сильвестр наконец, что за герой и из какой литературы меня на этой остановке нынче донимал.



Сгоряча



Объектив телекамеры, пусть даже и районного масштаба, заставляет трепетать. Сан Саныч во время перерыва на рекламу вылакал полпузырька валерьянки – не помогло. Вытер испарину со лба, а лоб вот уже и опять мокрый. Стотысячный город и весь район сейчас смотрят в вечерних новостях прямой эфир с новым руководителем местного сельхозуправления.

Сан Саныч заступил на этот пост совсем неожиданно. Прежний начальник помер, и его – успешного директора совхоза – назначили... сгоряча...

Все новое, непривычное. Под окнами администрации возле персонального «Вольво» курит личный шофер. На полях, было дело, ждали новые сеялки, а управление для развития села прикупило такую вот «сельхозтехнику». Галстук душит, часы за последние три дня с непривычки докрасна натерли правую руку. «Привыкай, брат, все теперь так носят, на правой. И озадачься на досуге – купи ракетку, кимоно и лыжи. Что-нибудь обязательно скоро пригодится. Работа теперь у тебя такая. Это тебе не коровам хвосты крутить».

Так районный глава поучал недавно. «Коровам хвосты... Что он в этом понимает! В моем совхозе еще осталось немного коров, да. Но это вопреки... потому, что мы в своем хозяйстве на лыжах не бегали, некогда».

...Перерыв вот-вот закончится. Оператор уже нацепил наушники, мужик в спортивном костюме опять врубил свет, глаза защипало. Барышня через столик напротив захлопнула пудреницу. Сейчас снова начнет вопросы источать. Сан Саныч не учился риторике, он начинал на тракторе. Новые речевые обороты никак не хотят запоминаться.

Накануне по совету опытных товарищей он готовился к этому первому интервью — сидел дома и всю ночь штудировал похожее интервью, только в исполнении самого губернатора. Того спрашивали: «Что вы намерены делать с разрушенной промышленностью?», а он в ответ: «Промышленность у нас испытывает тяжелые времена — заводы стоят, экономика не...» Его спрашивают, как вы намерены возрождать сельское хозяйство в области, а он: «Сельское хозяйство это важнейшая отрасль... структура...» Будто без губернатора этого никто не знает! Его спрашивают, как вы намерены работать в социальном направлении, а он: «Гражданам нужны конкретные результаты в этом направлении, это важнейшая сфера...» Сан Саныч даже заматерился: «Да сами мы знаем, какая это сфера! Делать, делать-то что ты будешь? Самой области уже не осталось, руины, а он!..» Сан Саныч свирепел и... конспектировал губернаторские мысли. Быстрее всего он запомнил ответ о духовном развитии региона: «Возрождение духовности — это символ... Важнейшее направление, актуальный вопрос...» Что делать, начальство опять не говорит, зато слово «символ» — ух, шибко к месту! — понравилось.

...В наушнике протрещало: «Приготовились, начали!» Камера засветилась красным огоньком, журналистка расплылась в приторной улыбке, Сан Саныч остолбенел. Ведущая обратилась к нему: «Уважаемый Сан Саныч, наших зрителей интересует, как под вашим руководством в районе пройдет посевная кампания? Что для этого делается?» Руководитель напрягся, мозги скрупулезно зашевелились, на пиджак с носа стекла холодная капля. «Как бы губернатор ответил?.. Символ? Не подходит. Важнейшее направление? — тоже. И "положительная динамика" сюда не вяжется. Известно, как посевная пройдет! — денег в районе нет, соляры нет, семян нет, техника осталась только в одном хозяйстве, в том самом, в моем... которую лепили из металлолома, пока покойный руководитель фотографировался с динамикой и шил себе выходное кимоно».

...Пауза затянулась. Наушник ободряюще зашептал: «Успокойтесь, представьте себе, что камеры нет, вы просто сидите с друзьями, беседуете». Сан Саныч открывает рот, прижимает к столику трясущуюся руку. «Давайте-ка... глубокий вдох-выдох. Расслабьтесь, говорите». Сан Саныч остервенело вдохнул, закашлялся. Ведущая зловеще улыбается, стреляет свирепыми глазами, ерзает. Издевается?.. Рука сама нащупывает галстук, тянет его в рот. Сан Саныч ловит себя на этом, отирает галстуком лицо, сморкается... Мычит...

В наушнике заорали: «Говорите же хоть что-нибудь! Уже и так опозорились! Теперь терять нечего».

Сан Саныч будто очнулся, захлопнул рот. Спокойно переодел часы на левую руку и...

Искренне рассказал телезрителям, как пройдет посевная.



Ощущение корней

Внезапно возникло желание посетить родину предков. Наверняка здесь я оказался не случайно, хотя еще утром не думалось все это увидеть, ощутить...

Под ногами непривычный треск. Это трещат опята. Здесь ими усеяно все, а собирать их некому. Машина осталась на глинистом проселке — до кладбища на ней не проехать. Иду лужком. Вокруг тишина, которую поэты называют звенящей. Лгут. Она не звенит, это в голове звенит от такой непривычной тишины. Каждый шаг оглушает грибным хрустом. Слабо моросит дождик, на Уральских горах возлегли увесистые осенние тучи.

Последний раз мне довелось побывать здесь два десятка лет тому назад. По молодости или по ветрености все это великолепие тогда не замечалось, а теперь удивляет каждый желудь на кладбищенской тропке, каждый золотой листок, что еще не свалился с березки или дуба. Вспоминаю, что где-то неподалеку была горная речка с форелью и хариусом. Должно быть, она и теперь есть. Здесь ничто не изменилось

со времен моего детства. В деревне, в паре километров от кладбища, тогда было озеро, в котором старики запрещали купаться. На озере — плавучий остров, а на нем — лес. Поговаривали, будто у озера нет дна. В эти края не вели широкие дороги, не было телефона, и местная молодежь убегала в город по слякотному проселку к вожделенным асфальтам и гастрономам. Вся местная цивилизация сводилась к машине с хлебом и почтой из центральной колхозной усадьбы, что в десяти километрах отсюда, и то если не было распутицы, заносов или буранов. Бреду между могилами. Из деревеньки в сорок дворов потягивает печным дымком, с гор веет древностью, и в сердце поселяется священный трепет. Понимаю, что за кладбищем, в горах, куда ни ступи, твой след может оказаться первым в человеческой истории. Говорили, что на реке частенько рыбачат медведики.

Среди крепких дубовых крестов спокойствие. Могилы, те, что моложе сотни лет, еще сохранили надписи о своих обитателях. Читаю старые русские фамилии, поминаю тех, чьи выцветшие имена еще можно различить. Здешним воздухом невозможно надышаться, напиться. Трудно наглядеться на все это извечное великолепие! Мои предки бродили здесь, неподалеку. В этой земле, где покоятся теперь сами, они хоронили своих предков.

Над овражком покосился трехсотлетний дуб, верно по весне рухнет. Его корни уже торчат из земли, но все еще держат его, не дают свалиться. Вижу это и чувствую свои корни. Они здесь, подо мной, в этой почве. Пытаюсь задуматься и вспомнить все свои корешки, что вросли в русскую землю. Они проросли по всей необъятной Родине. Отсюда, от седого



Урала, где бажовская Даренка зимними вечерами грезила о Серебряном Копытце, до гоголевских хуторов, где кутил Басаврюк и отец Афанасий гонял кропилом черта по улицам. И здесь и там все так же, как века назад. Есть питающие корни и в жирном воронежском черноземе, и в грязном Кавказском мергеле... Вспоминаю всех и молюсь об их небесном счастье. Понимаю, что от земли до Неба всего один маленький шажок. Небесное — рядом, и, возможно, если в роду были праведники, там, на небесах, тоже проросли мои живительные корешки. Они держат, не дают свалиться без сил.

Возвращаюсь к машине — хрущу опятами. На обратном пути решаю проехать деревней. Здесь почти все как в детстве. Вот оно, бездонное озеро. Остров прибило к берегу возле старой кузни. Лес на острове почти облетел. Вот покосившаяся избушка предков. Сколько здесь живет воспоминаний! На месте соседских домов поселился бурьян. Скоро и наше «гнездышко» развалится. Селяне потихоньку перебираются на кладбище. Те же, кто туда не торопится, держат свиней. В городе опасаюсь, чтобы ненароком не раздавить чью-нибудь кошку, а здесь под колеса бросаются напуганные поросята. Не к настроению вспоминается Анна Каренина.

Выезжаю из села. Машина медленно карабкается на пригорок. Пролески сменяются заросшими непахаными полями. Решаю остановиться, взглянуть с пригорка на далекую теперь деревню. Выхожу из машины, и вновь от тишины звенит в ушах. Провода вдоль кисельного проселка гудят, как хорошая пасека. В городе такого не услышать. Набираю под дубом желудей «на добрую уральскую память», когда еще попаду сюда?.. Брошу их в бардачок, в компа-

нию к украинским соплеменникам. В дороге будут греметь и напомнят о вездесущих моих корнях.

Печной дым уже не стелется по далекой деревне — разыгрался ветерок и разогнал его. С дубков сорвало промозглые серые листья и погнало над полем. Вдруг через дорогу перепрыгнул легкий шарик перекати-поля и погнался за листьями. Откуда ему здесь взяться, этому жалкому степному кочевнику? Ни корней, ни родины?..



«Для имени Моего...»



За недостроенной соборной изгородью — рынок. Шумно занимается «базарный день». По церковному двору разбросан кирпич, в бадье стынет свежий раствор. Каменщики распластались на траве, глаза закрыты, страдают. Шелестят вековые липы... Вчерашний праздник — День строителя — кажется, удался. Чуть поодаль, на скамье, певчие листают ноты, ожидают начала службы. С ними и я, тогда еще юный, привыкаю. Ласковое августовское утро...

Разглядываю кирпичный забор-долгострой. Нужен особый талант, чтобы так криво укладывать прямые кирпичи. У наших шабашников такой талант есть.

В узкую калитку протискивается великий мешок, под ним бабка Наталка — добровольная приходская повариха-кормилица. Она — сухонькая — ссутулилась под гнетом картошки, которую сама растит. Медленно приблизилась к певческой скамье, свалила мешок, улыбнулась, отерла рукавом лоб. Поглядела на каменщиков, перевела взгляд на долгострой и всплеснула руками:

— Да Божечки! Що наробылы! Це ж... Ой-ой! Це ж не для себе, це ж для Нёго! Вы подывиться! — это она указала нам на феноменальную кривизну забора. Мы пожали плечами. Бабка Наталка заплакала, подошла к долгострою, принялась оглаживать его и причитать:

— Да голубчики, да хиба ж так можно!? Та вы ж для Бога...

Главный простонал:

— Отстань, бабка, что ты соображаешь! Это тебе не картошку варить!

Бабка в слезах натрусила в ведро раствора, проворно собрала несколько кирпичей, взяла мастерок:

— Ото ж роблять, не дай Боже. Соби б — то инша справа, а то ж для Бога...

Она, тихонько причитая, уложила кирпич, другой...

Колокольня загудела благовестом. Удар, еще удар. Затем посыпался веселый перезвон. Когда он стих, бабка уже как по струнке выложила ряд. Удивленные шабашники со скрипом поднялись, усовестились:

— Ладно, чего уж, давай сюда. — Отобрали у поварихи мастерок, принялись колупаться. К вечеру недельная норма была ими — залюбуешься — выполнена.

Бабка Наталка в приходе — народная совесть. Однажды она посетила нашу просфорню. За дверью послышалось слезное «що ж ты робыш, ластивко, це для Господа Бога? Ось таке?» Долго оттуда не выходила. Появилась под вечер, вся в муке. С той поры просфоры из нашего храма нахваливает сам архиерей. Она напоминала пономарю, что он не себе, а Богу делает, и лампады в храме переставали коптить. В нужный момент являлась певчим, всхлипывая просила у них ноты, чтоб самой тоже Бога «пославить, чи дастэ?», и на хор переставали жаловаться...

...Тот мешок картошки... Пока бабка работала за каменщика, я — здоровый парень — попытался снести его на кухню... Попытка, говорят, не пытка. Пришлось покликать дворника на подмогу, только вдвоем и своротили...

Откуда в сухих постящихся руках являлась невечерняя сила? а в полуграмотном говорке убедительность? Где — и себе бы этак, потом, в восемьдесят с гаком — начерпать ее молодецкой бодрости?..

...На бабкиной могилке и теперь красуется вычурный кованый крест, лучший в округе. Всем приходом скидывались на ювелирную кузнечную работу, какой теперь никто не сделает. Узнали, для кого — сделали! А под крестом, на кованом подножии, батюшка благословил, изготовили: тонкими золотыми буквочками древнее, библейское — будто девиз бессмертной бабки Наталки: «Для имени Моего трудился и не изнемогал».



Настойка и грезы



Молодой отец Владимир устроился в электричке у окошка. Осеннее солнышко сквозь стекло грело его черную скуфью.

Совсем недавно он сидел за своей партой в семинарском классе, солнце так же, в окно, пекло макушку, и только лектор не позволял дремать. Очень красочно рассказывал о святых проповедниках, которые несли диким племенам евангельский свет. Живая картинка: апостол Павел с проповедью посреди ареопага, внемлющая толпа языческих греков... святитель Иннокентий, плывущий на своей байдарке по холодному морю. Наряженные алеуты, уже крещенные им, высыпали на берег встречать любимого батюшку... Один сплошной богословский праздник! И вот теперь сам недавний студент едет к своей пастве и считает минуты до встречи с прихожанами. До сей поры ему не приходилось бывать в деревне, и теперь одолевали праздные мысли: «Помнится, где-то читал, как крестьяне присылали за батюшкой подводу. Интересно было бы на лошади прокатиться. Хотя в деревне теперь, наверное, и машин хватает...»

По вагону пошел контролер со своим гигантским дыроколом. За его спиной — двое, похожие на терминаторов.

— Ваш билет!!! — И старушка чуть не давится бутербродом.

— Ваш билет!!! — Бродяга делает вид, что спит и не слышит.

— Билет, говорю, давай!!! — В ответ — тишина. Терминаторы молча грузят несчастного на плечи и несут в тамбур.

— Ваш би... О! Поп, что ли? Билет давай!!!

Наконец шумные воины порядка уходят. Снова под сиденьем слышится баюкающий стук колес. Отец Владимир клонит голову к оконному стеклу и мысленно прокручивает в голове весь день, с самого утра. Епархиальное управление. Торжественное получение указов о назначении. Молодых пастырей напутствует и благословляет сам архиерей. Поучает их и старое, заслуженное духовенство. Отец Захария рассказывает, что приезд на приход — это самое радостное событие в жизни священника. Помнится, когда он, молодой, во время войны был послан на свой приход, горожане встречали долгожданного батюшку хлебом-солью. Даже плакали от радости.

Отец Владимир опять засыпает и видит себя выходящим из вагона. Его тут же окружают заждавшиеся христиане, берут благословение. Несколько старушек пришли на станцию с букетами. Интересно, где они взяли гладиолусы в конце ноября? Бедолаги, как же им трудно жилось без литургии и причастия! Ну, ничего, теперь заживем! Церковь отопрем, служить будем шесть дней в неделю. Или нет, лучше каждый день, все ведь хотят Богу потрудиться, вот всем желающим послушание и определим. «Братья

и сестры! Кто желает петь на клиросе — тот отходи направо. Кто хочет печь просфоры и делать в храме уборку — налево!» — И отцу Владимиру грезится очередь самобытных деревенских старушек. Каждая что твоя Арина Родионовна. «А как вы поете, матушки, по нотам или так, по-народному?» — И те, кто справа, как по команде раскрывают рты. Откуда-то взялся мужик с гитарой. «Ай нэ-нэ-э, чернявыя-а! Ай да ну-у да ну!..» — «Что вы, что вы! Сестры! Не так надо!» — отец Владимир замахал на хор руками и проснулся. В вагоне плясали и горланили лохматые и грязные цыгане.

— Очи черныя-а! очи страстны... дай пять рублей, красивый! Счастье будет! И прекрасныя-а!

Батюшка достал последний железный пятак и положил его на протянутую грязную ладонь. Скоро цыгане убрались.

Отец Владимир снова прислонил голову к стеклу и закрыл глаза. Подумаешь, пять рублей! Не в деньгах радость! И вообще Господь свое чадо без заботы не оставит. Говорят ведь, что ни один священник с голоду не помер... хотя, постой, таких случаев как раз хватает. И с голоду, и от холода, и повешали нашего брата, и потопили, и пожгли... А кто же тогда с голоду помер? Цыгане? Или бомжи? Да нет. Врачи с учителями тоже от голода не мрут. Может, токари и шоферы? И про тех не слыхать. А нашего брата уморили без счету. Сколько-то по истории говорили... сорок тысяч... или четыреста... нет, не помню. Да, кошмарные были времена... Зато отец Захария говорит, что теперь времена хорошие настали. Служи — не хочу! И везде тебя ждут — и в школе, и в сельсовете. Везде священник — первый человек. Иди, проповедуй! Да, дожило наконец духовенство до счастливых деньков.

Церкви строить позволяют... Мой храм, наверное, вот тоже подбелить-подкрасить придется. Давно ведь закрытый стоит, облупился наверное весь...

За окошком мелькают столбы.

Но вот солнце укрыли тучи. Они тут же забрызгали все окна холодным осенним дождем. Отец Владимир дремал, мечтал и сквозь полудрему радостно улыбался. Навстречу проносились гнилые комбайны, разбросанные по непаханым полям, пустые дома с выбитыми стеклами, развалины ферм, окруженные кленовыми джунглями, мокрые мужики, увязшие в грязи на автомобиле марки «ЗАЗ».

* * *

Батюшка проснулся от легкого поглаживания по плечу.

— Молодой человек, конечная. Просыпайтесь.

Перед ним обозначилась немолодая дама в галошах на босу ногу и с фонарем под глазом. Отец Владимир подскочил и, просочившись между ней и дверью, юркнул в тамбур. Оттуда быстро сбежал по ступенькам вниз. Застегнул куртку, огляделся и вспомнил, что выходить из вагона нужно бы посолиднее, как подобает настоятелю, которого встречают... Да, кстати! Он посмотрел по сторонам.

На площади у перрона месят грязь облезлые псы. Справа — бабка торгует семечками, слева — избушка с вывеской «Магазин». Прямо за площадью руины, похожие на бывшую церковь. Ни христиан, ни гладиолусов, ни слез счастья. Батюшка зашел в магазин, чтобы узнать, как попасть к его церкви. Продавщица уставилась на его подрясник:

— Ты чё, поп, чё ли?

— Да, я ваш новый настоятель.

— Настоятель? Настойку чё ли уважаешь? — Колючий взгляд торговки немного подобрел. — У нас тут тоже есть один настоятель. Все — мужики как мужики. Налижутся бражки и дрыхнут, а этого все на экзотику тянет. Только и слышишь: «Клавк! Настойку привезли?» А где я тебе возьму ее, настойку-то эту? У нас и вермуту отродясь не водилось, а этот все...

Батюшка не стал дослушивать:

— Вы подскажите, пожалуйста, как мне к церкви проехать? — перебил он продавщицу.

— Да ты чё, ослеп? Без настойки-то? А это тебе чё? Райтоп чё ли? — И она ткнула пальцем в стекло, указывая на руины. Отец Владимир пояснил:

— Мне не эта нужна, а Архангельская, где я служить буду.

— Архангельская-ангельская! У нас другой не бывало никогда. Во! Хошь — служи! Хошь — пляши! Это тебе не церковь?

— Она что? Одна у вас? — не терял надежду батюшка.

— А то!!!

Отец Владимир вышел из магазина и двинулся по грязи через площадь. Ноги не слушаются, рот не закрывается, глаза намокли. Руины от месива площади отделяла свалка. Он остановился, подумал. Присел на ржавый помятый холодильник и стал размышлять то ли о гладиолусах, то ли о хороших временах, то ли о том, куда податься на ночлег... без денег.

Вечерело, и у магазина уже бузил его коллега «настоятель»:

— Клавк! Настойку привезли?

— Нет!

— А чё ты радостная такая?

— Да поп приехал. Вон сидит, скучает. Нас-то-я-тель.

— А чё мне нас-то-я-тель! Он чё, настойку привез, чё ли..?



В числе дураков



Проповедь о Рождественском посте дешевле всего под Новый год. Надвигается эта самая развеселая ночь, и чем она ближе, тем усерднее отводят свой взгляд внимающие. Известное дело... И немало вспоминается анекдотов про больную новогоднюю голову.

А второго января наступает «пора собирать камни». Это традиция. Для священника этот день совсем не праздничный.

Едем отпевать. Вот уже, кажется, четвертого. Семеныч грустит с кадилом где-то в глубине ПАЗика, я — за водительской спиной. Автобус дробно скачет по дорожной наледи. Я знаю, к кому нас везут, это совсем молодой парень. Недавно, под праздники, мы с ним беседовали в храме. И о посте, конечно, рассуждали. Он приносил крестить, кажется, племянницу и все недоумевал, как это можно... «Что за умники придумали поститься в новогоднюю ночь?!» За словом — слово, и он резонно вывел: «Нет, пусть дураки постятся, а я жизнь люблю. Напьюсь и погуляю! Мне государство для этого выходные организовало».

Я честно отговаривал поначалу. Потом успокоился, бисера пожалел.

Тесный гроб устроен как раз под елкой. Над лицом покойника висит синяя стеклянная сосулька, рядом с ней болтается зайчик, выше — Дедушка Мороз с большим счастливым мешком. Какой-то остряк засветил гирлянды. Елка переливается, таинственно колышется мишура. Обхожу с кадилом скорбный новогодний подарок. Запах ели и мандаринов мешается с ароматом дорогого архиерейского ладана, что случился у меня под Рождество. Вот почти уже и дотянули до светлого праздника. Весь «заупокойный чин» скоро завершается в полной таинственной тиши. В заключение — короткая проповедь, в которой, разумеется, касаюсь и темы Рождественского поста, хотя его и осталось-то... всего четыре дня, что ли? У нас с Семенычем нынче назначен еще один похожий визит. Торопимся. Обратно нас везут уже на легковушке.

В черной машине — хоть не топи — под зимним солнышком делается жарко. Парня, который нас везет, я тоже знаю — это брат покойника. Давно с ним знаком. Семеныч его держит в числе «наших». Это и понятно, ведь парень постится. Вот и сегодня головой не мается. Сетует на братово легкомыслие:

— Отпели вот нашего умника... — вздыхает.

Интересуюсь, отчего он усопшего величает умником, да еще и с подковыркой?

— А как же, — говорит, — его еще звать?! Самым умным себя в семье считал, ни разу никого не послушал. Да мы, признаться, и сами устали его вразумлять. Все ведь постимся, и отец с матерью, и я вот начал. А этот над нами только потешался. Дураки, мол, и попы ваши — такие же. Напридумывали



всякого — не продохнуть. Вот сами и поститесь-мучайтесь, раз такие глупые.

Водитель усмехается и умолкает.

После густой, тягучей паузы любопытствую, от чего его умный брат преставился. Он как будто встрепенулся и поведал:

— Бог их теперь разберет, он Новый год без нас, в компании отмечал, с умными тоже. Говорят, что все, как обычно: раз бутылка, два бутылка, три, четыре, пять... А потом что уж случилось, кто — за нож, кто — за табурет, кто — за вилы. Наш самым слабым оказался, хотя и успел двоих чем-то пырнуть. Теперь те двое в районе, в реанимации. А самый крепкий — напротив реанимации, через дорогу, на нарах. Ну а наш вот, умный... Выносить скоро... Из-под елки...

Кажется странным, что брат не скорбит о своем убиенном сроднике. Впрочем, что же тут странного? Наш ведь человек, знает, что у Бога все живые. Сам даже постится, чтобы перед Ним не умереть.

Над широким заснеженным полем плывет на солнце наш белый красавец храм. Лебедь! Мы втроем влипли в лобовое стекло, любуемся. Машин по дороге — ни одной. Известно, праздники.

Наш водитель грустно вздыхает: «Вот мы — дураки — и постимся до сих пор. А умного скоро закапывать...» Часто заморгал, отвернулся.

Вдоль обочины в белых кружевах березы. Сверкают на солнце, есенинские. Ночью нападал рыхлый воздушный снежок, с утра слегка подморозило. Окрестная белизна искрится. Зимний день короток. Совсем скоро, к закату, небо изменится в цвете — залюбуешься. В крайнем палисаднике на голой яблоне дремлет сова. После заката она встрепенется, расправит крылья и заскользит над синеющим полем.

На носу Рождество. Через пару-тройку дней детвора станет ломиться во дворы, требовать конфет и денег. Теперь так колядуют.

Ну а после Рождественской службы разговеемся — всему свой срок. Выпьем, конечно, чего там. Предвкушаю...

Эх, здорово!..

И нравится мне быть в числе дураков.



8 марта



В праздники городской шум стихает рано. Молодой архитектор это знает. Буднями улицы и ночью гудят. Бежишь, бывает, с работы, кругом пестрят витрины, народ снует туда-сюда. Будто и не отдыхает никто. Зато сейчас — праздничное спокойствие. Он ковыляет мимо ресторана, где гремит музыка, люди веселятся. Его ноги гудят от усталости, перед глазами — разноцветные кружочки. Они мешают смотреть на весенний город, расплываются на всем, как масляные пятна по лужам. Навстречу криво плывут подвыпившие с гармошкой.

Переходы, перекрестки, светофоры... Разметка на бульваре видится чертежом. Тьфу! Афиша на фасаде театра — сметой. Не первый год без выходных и отпусков. А как же — дома жена, дочь подрастает. Хочется их баловать, а денег вечно не хватает. Не успел выплатить кредит за квартиру, как жене пожелалось «машинку новенькую, красненькую такую». Опять кредит и работа, работа... Устал. Махнуть бы куда-нибудь на юга, в Египет! В теплом море поплескаться.

Тут архитектор заметил, что повалил снег, такой рыхлый. Вот тебе и весна. «Вечно так. Только замечтаешься о чем-нибудь теплом — и нате вам, погрейтесь». За свои тридцать пять лет он ни разу не видел моря. Даже Баренцева. «Это роскошь. Обойдусь. Некогда. На пенсии отдохну». А жена с дочерью каждое лето ездят, загорают. Такие обе шоколадные возвращаются. Смотреть — глазам тепло. Для них ничего не жалко.

От голода заныл желудок. «Хорошо, что хоть утром успел перекусить, когда семье завтрак готовил, а то точно бы с голоду посинел». При мысли о посинении синих кружочков перед глазами стало больше. Редкие проезжающие машины сделались синими, как одна. И снежинки посинели. Он взглянул на часы. Они показывали половину десятого, а рука под ними и впрямь была синей, но по-настоящему, от холода. «Перчатки, блин, утром забыл!» В этой руке он нес пакет с шампанским и праздничными закусками, а другой придерживал за пазухой букетик мимоз. Сменил руки и ощутил праздник: «Иногда для счастья нужно так мало...»

Знакомым путем архитектор свернул во двор и оказался перед своим домом. Окна теплой квартиры на десятом этаже. Они маняще светятся, дома ждет семья. У подъезда — красненькая машинка жены. «Уже две недели стоит без номеров. Надо наконец вырваться, хоть машину ей на учет поставить».

Лифт почему-то не работает. «В честь праздничка?» Консьержка пожимает плечами.

— С праздником вас, с Восьмым марта!

— Ой, спасибо!

В ее бытовке шумит телевизор, показывают привычный такой концерт. Ватные ноги долго поднима-

ют архитектора на десятый этаж. Наконец он ставит пакет у родной двери, роется в кармане и звенит ключами. Уже в прихожей слышен телевизор, семья, как всегда, в гостиной.

— Привет, девчонки мои! С праздником вас! — Он поправляет желтенький букет.

— Здорово! — доносится из зала женский голос. И дочкин голосок: — Приветик, пап!

Он ставит букет в вазу и идет на кухню набрать в нее воды. В раковине грязная посуда, осталась от завтрака.

— Вы что же, сегодня не обедали? — шумит он в гостиную. В ответ дочка пищит:

— Обедали. Мы в кафешку ходили.

Архитектор нацепил передник, включил кухонный телевизор и под его бухтение принялся за посуду. Попутно решил успеть приготовить праздничный ужин. Стер со стола и водрузил на него вазу с цветами и «шампанскую бутыль». По ящику пищала Степаненко. Что-то прикольное рассказывала про то, какие мужики «козлы». «Совсем не осталось мужиков, — говорит, — ниче не могут. Нам — бабам — надо все самим. Власть надо брать, чтобы управлять этими олухами». Зал задорно ржал, и архитектор хихикнул. Пока на сковородке грелось масло, он выскочил на площадку, вынес мусор. Вернулся к плите и ощутил такое приятное, привычное, как кухня снимает дневную усталость. Пока на сковороде шкворчало мясо, быстренько покрошил салат. В телевизоре Петросян смешно выпучил глаза. «Теща, — говорит, — моя — змея! Я, — говорит, — приползаю с работы, а она на меня шипит! А жена, — говорит, — ударница! Скалкой ударяет, когда мы с мужуками...» Зал гогочет, и архитектору от его рожи смешно. Он протер фужеры,

расстелил на столе свежие салфетки и позвал девчонок к столу. Когда вся семья уселась, по телеку ведущий отчеканил тост: «За милых, ласковых, красивых, на которых держится весь дом, без которых нам — мужикам — не прожить и дня!» Красиво до слез. Грех не выпить.

После ужина дочка чмокнула маму и побежала спать. Архитектор убрал со стола посуду, нарядился снова в передник и встал к раковине. Жена поставила перед собой пепельницу, закурила. Телевизор выключили. В воцарившейся тишине под баюкающее журчание воды архитектор услышал: «И где только тебя носит целыми днями? Даже в такой праздник с нами не можешь побыть? Я тут со скуки умираю, сижу одна, как дура. — Она выдерживает паузу, закуривает вторую. — Да все вы мужики одинаковые. Точно Степаненко сказала — козлы».

Он домыл последнюю тарелку и сел напротив нее. На то, чтобы оправдываться, уже не было сил, и голова плохо соображала. «Надо бы попытаться выспаться, а еще рубашку нужно простирнуть». В пепельнице дотлевает второй окурок.

Завтра на работе опять аврал. Архитектор подпирает голову руками, и глаза начинают слипаться. Мерещится работа. Завал полный. Нужно придумать и спроектировать детскую площадку в «Крутом квартале», не обычную, а в авангардном стиле. Было бы проще, если б, как всегда, ну, карусельки там, разные фигурки-скульптурки, а с авангардом — ну никак. «Дернуло же меня еще и дизайнерскую ставку захапать! Все денег мало». Сроки горят... Перед глазами лицо жены. Оно вдруг вытягивается, обрастает бородой. Ба, да это же начальник! «Сроки!!! Неустойку я, что ли, платить буду?!» Архитектор поежился.



Очнулся от резкого звона: хрустальная пепельница под окурками треснула пополам и развалилась. Жена уныло смотрит на нее и молчит. Глаза от тишины опять слипаются, голова тяжелеет. Мерещатся авангардные находки, те, что уже вычерчены: Буратино с пулеметом вместо носа, Кот в сапогах, заглатывающий компьютерную мышь... Этого мало. Помнится, в институте препод по «истории ис кустов» учил, что художник, если он настоящий, должен сам прожить то, что он собирается изваять. Но как же прожить детскую развлекалку, да еще и по-авангардному?! Тупик.



Почти в смятении он приоткрывает глаза и... прозревает: жена о чем-то скорбит над пепельницей. Ну точно как пушкинская старуха над разбитым корытом! Оригинально. Главное, так современно! Уже мерещится эта композиция там, на площадке: молодая, красивая, смертельно скорбящая старуха, а перед ней разбитая пепельница...

Но тут он снова пробуждается от встряски — жена толкает: «Спишь, соня? Так ты ни на что не годен. Я пошла в спальню, устала что-то... Никакого от тебя толку... Все вы одинаковые».

Обида? Не до обид теперь, когда начальство неустойкой стращает. Мысль о своей творческой находке забивает все. Много непонятного. Как это все решить? Нужно ведь все это прожить, чтобы было по-настоящему, как в сюжете.

— Ничего, и с модернами справимся, не такие глыбы сворачивали. Побываем в этой авангардной сказочке... завтра...

Перед тем как отправиться спать он кладет в свой портфель ключи от красненькой машинки, документы на нее и визитку с телефонами автосалона. «Она еще без пробега, попробую-ка завтра вернуть, а вечером все и срисуем, с натуры. Господи, стыдно-то как! Какой же я козел!»



Короткая сирень



Раньше, совсем недавно, сельское солнце сияло на церковные руины. Его тепло питало травку, которая покрывала купол, своды и карнизы. А теперь в лучах весеннего светила над храмом дрожит золотом крест. Возрождаемся, однако. Блики от креста золотят майские окрестности. И не захочешь — залюбуешься, будь ты хоть атеист-разатеист. Вхожу в церковный двор, улыбаюсь.

В тени сирени давит лавочку своими пономарскими костями Алексей Семенович. Грустный сегодня, а на дворе-то — Светлая!

— Христос Воскресе, Семеныч!

Он слабо улыбнулся, ответил по уставу, как положено, и взял благословение. Интересуюсь, откуда к нему пришла грусть в такие-то святые дни. Поста будто не хватило напечалиться?

— Да... — он махнул рукой, — и жизнь прожил, а в людях так и не разобрался. Сужу вот всех по себе: раз у меня в голове все просто, то и у других вроде моего...

И он поведал историю, которая убедила меня в том, что возраст и мудрость не всегда приходят

к человеку одновременно. Явились, значит, к нему под вечер две будто бы чиновницы из района, пообещали будто бы по новому постановлению для пенсионеров уйму дешевых лекарств. Взяли деньги. Ушли за лекарствами... Всё.

* * *

...Тем временем к церкви потянулись первые прихожане. Цветут, улыбаются. Семеныч отправился возжигать лампады. Полагаю, что его улыбку сегодня я вряд ли увижу, хотя... зная веру своего помощника...

Под стрехой сторожки возятся ласточки. И сирень!.. ну до чего же пахнет сегодня! Первый год такая буйная!

На службе Алексея Семеновича отпустило: и «Воистину Воскресе» он голосил громче всех, и на крестном ходе вокруг храма за его пасхальной рысью мы все еле-еле поспевали. Это вполне объяснимо. Что такое для верующего человека горькая печаль? А? Так, мелочь, дело житейское, не больше. Оно — это дело — пройдет, как и всё на Земле, забудется, и сам того не заметишь. Она и жизнь, не успела распуститься, глядишь — уже облетает.

Кроплю народ святой водой, а преобразившегося за службой пономаря обильнее всех:

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе! — торжествуют без малого три десятка голосов. Вот это бессмертное веселье — верно, что насовсем не исчезнет. Случается, мы забываемся, грустим, безобразничаем, но только забывшимся Господь Сам о Себе напомнит, и если не теперь — Воскресной радостью, то после, когда наступит самый главный в жизни сороковой день — как-нибудь иначе.

И он наступит, никого из нас не спросит. Поди-ка усомнись. Ну?

Иных напоминание об этом пугает. Намедни вот беседовал с соседкой Петровной и в разговоре по привычке между делом помянул Божий суд — этот самый наш сороковой день. Бедная Петровна! Она даже подпрыгнула: «Типун, — говорит, — тебе на язык!» И заплевалась через плечо. Будто бы это от окончания жизни помогает. Вот. А Семенычу перед службой о Божьем суде намекнул, так он вмиг утешился, былая туга сразу отпустила, как будто бы и не крали у него. Обрадовался, успокоился, всю литургию пропраздновал. И едва успел погасить лампады, тут же поскакал за сиренью: «Не для нас, бессмертных, что ли Господь ее создал? Иной год закружишься, а она тем временем раз — и облетела, попробуй, верни ты ее».

Ох, и быстро она отцветает-проходит...

Расставил Семеныч ароматную по всему храму и в вазах, и в ведрах, и просто так на окнах разложил. Соберемся к вечерне, а в храме весна.



Неформал Женя и его мать



Где сейчас проживает Евгений и чем он промышляет, мне неизвестно.

Я познакомился с ним лет около десяти тому назад. Мы неплохо общались и почти было подружились. Он, как и большинство вдохновенных натур, пребывал в постоянном творческом поиске себя и однажды нашел-таки себя в пределах нашего сельского прихода. Расцвет сил, голубые глаза, светлые ресницы, остриженные без малого «под ноль» волосы, в безбожно продырявленных ушах масса различных сережек, на черной майке – череп. Наколотые синие запястья, кило звенящих побрякушек... Он объяснял все это просто: «панк-рок в ушах по жизни». А на мой вопрос «зачем?» отвечал однозначно: «Я в натуре нифер». Неформал, значит. Господь не обнес нифера талантом. Женя слыл классным барабанщиком, постоянно участвовал в различных рок-репетициях районного уровня. Это если трезвился. Вот только почему-то до выступлений трезвым никогда не доживал, и очередной коллектив с нифером Женей прощался.

В церкви Женя появился в свой внезапный трезвый период жития. Его добрейшая душа расположила к себе всех прихожан, и больше всех Жениному воцерковлению радовалась его мать, тоже прихожанка. При храме ему сразу отыскалось дело — я его, как профессионального музыканта, определил в звонари. Помню, когда мы вдвоем впервые поднялись на колокольню, он загрустил от того, что обнаружил там всего-то четыре несчастных кампана. Но немного постояв в грустной задумчивости, он быстро просветлел, спросил, где найти веревок, досок и молоток с гвоздями. Тем же вечером наш новый звонарь Женя уже созывал христиан ко всенощному. Какой бесподобный панк-звон накрыл тогда наше село! Я, помню, поднялся к нему и узрел процесс творческого делания: неформал восседал на самодельном стуле, его правая нога как будто «давила бочку», левая — хет. Руки приводили в движение языки двух малых колокольчиков, и казалось, что он сжимает не веревки, а барабанные палочки. «Кайфец! Лабаем!» В такт своей новой музыке он мотал лысой башкой и был счастлив.

Не сразу, но все же его звон утратил роковые и джазовые «сбивки», стал походить то на ростовский, а то и на киевский. Железяки покинули изрешеченные ушные раковины, череп исчез с футболки. Со временем Евгений обрелся на клиросе и наш маленький хор зазвучал. Однажды, в светлый летний праздник, Женя даже причастился. Прихожане его хвалили, мать не могла нарадоваться...

Собственно, своеобразная радость матери все и порушила. Ранней осенью на столе в церковной крестилке я обнаружил потрепанный акафистник, тот самый, что за год до этого ей вручил. Она тогда

жаловалась на сыново поведение, просила помощи в борьбе с ним. «Берите, — говорю, — акафистник и каждый вечер упорно читайте. Битва “за пьянку” еще никого не выручала. Зато молитва помогает. Всегда. Тем более — родительская. И боритесь, пожалуйста, не с ним, а... сами знаете, с кем». Она тогда упиралась, мол, слепая, «читать неграмотная». Просила его просто поругать... В ответ я вытряс из нее обещание ежедневно за Женю молиться. И вот теперь эта книга ко мне вернулась. Я попытался было уговорить ее не оставлять ежедневное молитвенное чтение, но в своем счастливом упрямстве она оказалась слишком сильна. «Чуть не ослепла через этот акафист. И так, — говорит, — хорошо получилось».

Хорошо получилось, кто ж спорит...

...С Воздвиженья зарядили дожди. Холодные, настоящие осенние. Желтые березы потемнели. Певчие с утра промочили ноги и чихали, долго не могли настроиться на службу. Без Жени у них что-то не ладилось. Пономарь Семеныч сообщил, что днями встретил Евгения в подозрительной компании. «Кривой, — говорит, — череп во все пузо, хотел мне свои барабаны пропить». Выходило, что наш нифер снова творчески ищет пропавшего себя. Его мать простояла воздвиженскую службу в углу. Мрачная, глаза заплаканные. Уставшая после всенощной нервотрепки с Женей. Она дождалась меня и попросила подмоги:

— Вы уж, батюшка, как-нибудь бы с ним... Поругайте... Измотал.

— Ну а может, все-таки акафистник? — говорю. — Точный метод ведь, проверенный.

— Нет. Это... Лучше так, объясните обормоту... отец его от водки... и этот щас, за ним... Того, бывало, материла-материла, все без толку... теперь этот бы

не тово... Вы же посещаете тюрьму, взяли бы его с собой. Поглядел бы он, до чего доводит... увидит, может обратится. А акафист шибко уж... здоровья нет.

Я не обещал ей, что экскурсия за решетку поможет Жене. Кому тюрьма помогала? Вот только слезы матери... Смалодушничал.

По дороге в тюрьму я заскочил за Евгением, когда он еще не просыпался. Сопроводить меня он согласился с удовольствием. Даже серьги из ушей повынимал и нарядился без черепа. Мой пропуск позволял провести с собой помощника, и Женя в тюрьме помогал петь молебен, читать правило ко причащению. Словом, пономарил как должно. А еще успевал общаться с сидельцами. На воле бывалые круты в своих компаниях, потому что сидели. А там все по-другому — бедолаги имеют жалкий вид и положение их весьма унизительно. Убедительное зрелище. «Пусть его, — думаю, — поглядит, может, что поймет и без моих комментариев». Лучше один раз увидеть...

Он и вправду увидел. Обратной дорогой мой спутник находился в оптимистическом возбуждении. Ерзал на своем боковом сиденье, глаза светились. Пока ехали по городу, он еще молчал, но когда машина побежала вдоль облетевших березок, он разговорился. Впечатления действительно получились глубокие, только...

— Это ж... я в зоне был! Кренделям раззвоню... в натуре, зону топтал!

Весь приход молился тогда за нашего неформала, и только несчастная мать после описанного случая обиделась и покинула приход. Соседи доносили, что ночами слышится, как она материт сына.

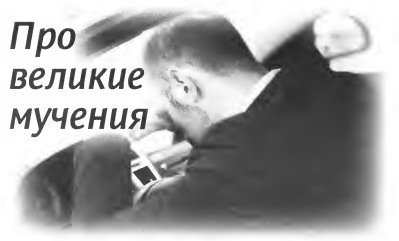
Осенняя слякоть в тот год тянулась и никак не хотела проходить. Совхозные грузовики непривычно

долго вывозили с полей свеклу, раздрызгали окрестные проселки. Ветер размочалил на колокольне Женины веревки. Старому Семенычу снова пришлось вспоминать, как пользоваться четырьмя церковными колокольчиками.

Однажды под холодным дождем Семеныч повстречался с нашим неформалом. Рассказывал тогда, что у Евгения появилась татуировка на лбу, свои барабаны он таки продал и купил гитару. Пытался ее пропить...



Про великие мучения



Однажды старинный семейный друг решил показать мне столицу. Не ту, шумную и грязную, к которой я уже успел привыкнуть, а другую, тихую, светлую и незаметную. Мы отправились в древний храм, что в Сокольниках. Ехали долго. Голова раскалывалась от шума и пестрящей всюду рекламы, но лишь только мы вошли в церковь, все вмиг изменилось. Здесь царило священное спокойствие. Мы приложились к чудотворной иконе, послушали молебен. Батюшка щедро умастил разболевшиеся головы добрым елеем, и нам сразу полегчало. Церковь была полна москвичами, но они казались совсем другими, не похожими на тех, что дремлют в метро и толкаются бесконечными переходами. Здешние светились, улыбались и не думали дремать. Мой поводырь объяснил, что столица — настоящая столица — она здесь, в храмах, а вовсе не вокруг них. Эта мысль мне понравилась. Я с ним согласился, и мы встали в очередь к свечной лавке.

Впрочем и здесь, в этой светлой Москве, нам встретился другой, уныло дремлющий горожанин.

Он стоял в очереди впереди нас, и его окружали мордатые телохранители. Его черед вскоре подошел, и нам невольно пришлось подслушать его печаль. Просунув голову в окошко свечного ящика, он потребовал у продавщицы икону своего святого, а заодно попросил, чтобы она рассказала о нем. Продавщица поинтересовалась, как зовут вопрошателя. Он оказался Георгием. Тогда она посоветовала взять образок святого Георгия Победоносца. И добавила: «Великомученика». Это слово впечатлило унылого. Он переспросил:

— Великомученика? Мой Ангел великомученик? — покупатель задумался и прослезился. — Точно. Прямо как я. Я ведь тоже великомученик. Всю жизнь мучаюсь. Гоняюсь за счастьем, а что-то никак не догоню. — Он разоткровенничался не на шутку, а продавщица, чтобы помочь ему, терпеливо его выслушивала. — Всю жизнь как белка в колесе. Это только говорят все, что надо дом построить, сына родить да дерево посадить, и всё, и будешь счастливым. Я уже десяток, наверное, домов себе выстроил и у каждого дома где сад, а где парк насадил. И сыновей у меня шестеро, по паре от каждого брака. А счастья все что-то нет. С бизнесом этим не клеится все время... Точно, я и есть этот самый великомученик.

Тут в его кармане заулюлюкал мобильник. Он взял трубку, послушал и велел мордатым подавать машину. Телохранители ускакали, а он поблагодарил продавщицу:

— Спасибо вам. Точно вы меня определили. Великомученик я, как и мой Ангел.

В распахнутую дверь было видно, как к паперти подрулил лимузин. Мученик утер слезу и попрощался. Уходя он забыл в лавке купленную иконку, так



спешил к своим страданиям. Когда очередь дошла до нас, мы увидели, что продавщица, растроганная жалобным рассказом, скорбит о «мученике»:

— Жалко его, — говорит, — рада бы помочь, а как? Он ведь меня слушать бы даже не стал. Такие «мученики» часто приходят. Желают от батюшек наших облегчение получить, а сами их не слушают. Гордые очень, гордость послушаться не позволяет. Так и мучаются всю жизнь. Иконки вот так же забывают, как этот...

Светлая Москва и теперь ликует. Каждый день. Где еще, в каком месте на земле враз совершается столько Божественных служб, как здесь? Сотни церквей стоят с распахнутыми дверями. И тысячи серых «мучеников» проезжают мимо этой радости. Протирают

кресла в офисах, месят грязь на рынках, проторговываются в ларьках и всю жизнь страдают. Хотят так, наверное. Мазохисты.

* * *

В нашем селе приезжие, как и в любом другом, всегда на виду. Они — главные звезды сплетен. О них судачат на лавочках, в магазинных очередях и даже при обычных встречах посреди улицы: «Слыхала новость? Те-то, которые... ух, какие они!..» Но это новое семейство не снискало себе звездной славы. Они оказались верующими, и все сплетницы разом поломали о них языки: «Слыхала? Эти-то, которые... верующими оказались, в церкву ходють». — «Мракобесы, что с них взять».

Эти «новички-мракобесы» купили себе ветхую халупку возле храма, распахали огород и зажили с Божьей помощью. Прихожане к ним привыкли сразу, как ко всем веселым и добродушным. И пусть их ржавая машина сто́ит как выхлопная труба от лимузина, пусть домик и все имущество оценивается как одно лимузиновое колесо, они улыбаются и цветут. Впервые встретив новую чету в храме, Семеныч их поприветствовал:

— День добрый! Как дела?

А они ему:

— Спаси Господи. Хорошо, слава Богу.

Семеныч вывел: «Наши люди».

Наши люди обживались. Когда отремонтировали домик, из города, от родителей забрали своего пятилетнего сына-инвалида. Вскоре и его, улыбчивого, стали в коляске привозить ко причастию. Сын-инвалид оказался доброй новостью для сплетниц: «Надо ж ведь как!» — «Ага, вот горе-то!»

Сердобольная Петровна однажды решила пожалеть новеньких и оплакать их всех — горемычных — вместе с котом. В их палисаднике распустилась душистая сирень. Мычали коровы, брехали собаки, молодежь играла в карты возле своих распускающихся садов. В воздухе носился запах весны. Петровна уселась под сиренью и принялась ожидать. Когда супруги вдвоем катили коляску с сыном ото всенощного бдения и кот семенил впереди них, она вскочила, вся сморщилась и навстречу им заголосила:

— Ой, бедненькие вы бедненькия-а! Горемыки несчастныя-а! Ой, горе-то какое! Сынок-то ваш... Ой, мученики вы мои-и-и...

Чета поглядела на нее с недоумением, дескать, что это с ней? Может, помощь нужна?

— Бабуль, что стряслось? Вам помочь?

Петровна захлопала глазами, сообразила, что спектакль про мучения сорван, перестала кукситься и попятилась через улицу к своим товаркам, на лавочку. Идет, прихрамывает. Мучается. А молодое семейство ей вдогон все докучает:

— У кого горе-то, мать? А?



Цена всем волнениям



Я — священник со служебным стажем три дня. Отмолившись, тороплюсь — в другом месте назначено. Опаздываю. Топчусь по полустанку, нервничаю. Не знаю, что мне делать — электрички все нет, планы рушатся, хоть плачь! Рядом мирно курит незнакомый дед. Ему меня жалко. «Трепыхась-то так, почем зря. Прыгай, не прыгай...», — слово за слово, и он затевает ненавязчивое утешение. Так потом оказалось.

С той поры прошло немало лет, но лишь только, бывает, потянет засуетиться, подергаться от крушения затей, утешительный дедов рассказ вспоминается мне очень живо. Привожу простецкую дедову повесть здесь, немного обработав. Авось кому пригодится. Итак.

Пятничным вечером друзья выбрались порыбачить. «Москвич» затормозил, рыбаки вытряхнулись из него и потянулись:

— Лепота...

Впереди два дня «лепоты». Они выбросили на траву свой рыбацкий скарб: бредень, сети, удочки, палатку, резиновую лодку и прочее, без чего все радости

ущербны. Вскоре сети были расставлены, донки закинуты, лодка причалена носом к поваленной сосне. Водку притопили у причала остывать. Плеск воды, стрекот кузнечиков...

— Без этого человек — не человек. Так, сморчок какой-то!

— Точно!

Рыба не клевала. Друзья посидели немного у донок наготове — ни поклевки! Решили размяться, собрали в пролеске валежника, чтобы хватило на два дня... уху варить. Выпили, проверили снасти: черви лениво извиваются на крючках. Вот оказия! Снова выпили и постановили мочить бредень. Завели раз, поймали лягушку. Выругались, плюнули. Завели другой и повеселели: пара щучек, тройка окуней и язек. Уха будет какая-никакая.

Вскоре под котелком заплясал огонь.

Солнце село, и у воды захолодало, над рекой поплыл пар. Рыбаки оделись. Сергей принялся чистить рыбу, а Ваня собрался проверить сети и потопал к лодке. Вскоре у причала послышалось барахтанье. Минуту спустя мокрый Ваня в одном сапоге нарисовался у костра:

— Я лодку отвязал, а без ума, что в том месте течение... Одной ногой вскочил...

— Ну?

— Ну нога и поплыла сети проверять. А другая по берегу — скок, скок. Оттолкнулся ею от земли, а до лодки не долетел. Глубоко, блин, с ручками! Сапог утопил. Течение такое, что... Скажи спасибо, посудину твою успел поймать, минута бы — и все, ушла бы в ночь.

Ваня скинул мокрый свитер и штаны. Сергееву одежду поделили на двоих.

Ушица шепчет, костерок постреливает. Покойный язь высунулся и смотрит за реку вареными глазами: там в холодном воздухе мерцают огоньки деревни. Августовская ночь прозрачна, она заставляет ежиться и выпивать. Проснулись звезды. Тишина... Над лесом всплыл месяц, стало светло. У берега шелестит вода. В лесу потрескивают сучья, будто там водятся слоны. Искры от костра уносятся в небо...

...Ваня вспомнил свой утопший сапог:

— Вот, блин, совсем новый, денег стоит. Такая потеря!

Сергей подумал, что друг юморит, и немного похихикал. Но скоро стало ясно, что Ивану не до шуток. Он тужил:

— Тебе легко. Конечно, чужого не жаль. Теперь и второй придется выбросить. Чужая беда — не беда?!

— Ну что ты, Ваня, какая тут беда? Успокойся, новые купишь.

— Ага, купишь! Таких шахтерских не купишь. Досадно, блин. Тебе-то хорошо, вон у тебя все целехонькое...

Сергей тоже огорчился — раньше за приятелем такой мелочности не водилось:

— Чужой, не чужой... Ваня, очнись! Вокруг такая красотища, а ты про какой-то вонючий сапог! Жизнь продолжается!

— Нет, тебе не понять... — Ваня встал и пошел нырять за сапогом. Сергей, хотя тоже выпил, смекнул, что добром эта затея вряд ли окончится. Поплелся следом.

Иван нырнул. Действительно, глубина! Друг ждал с минуту, но тот все не всплывал. Сергей почуял недоброе, быстро разделся. Уже собрался было прыгать за утопленником, как тот всплыл. Он кашлял, хватал

воздух и колотил руками воду. Сергей втащил друга на сушу. Тот трясся, заикался... Выяснилось, что под водой Ваня плавками зацепился за корягу. Плавки импортные, дорогие. Порвать — себе дороже, вылезти из них и бросить — ищите дурака. Вот он за малым и не остался в своих плавках там, на дне...

Улеглось.

...Наконец поспела уха. Друзья уселись подле котелка. Вдалеке мерцает красным огоньком бакен...

— Ну-ка, Ваня, глянь туда! — Сергей указал в сторону бакена. От него отлепился и поплыл в сторону рыбаков другой огонек, поярче. Над водой взвыл лодочный мотор.

— А, — Иван махнул ложкой. — Наверное такие же, как мы, вырвались...

Моторка, это было ясно, двигалась на свет костра. Приятели только и успели проглотить по паре ложек рыбацкого варева, как катерок ударил берег. В свете месяца было видно, как на сушу выпрыгнули трое:

— Ага, ешь твою! Браконьеры! — К друзьям твердо приблизились три мужика. Один — видимо, главный — в зеленой фуражке и кителе, двое других в картузах и фуфайках.

— Браконьерим, ёшь твою!? — хриплый, прокуренный голос... Мерзкий, не сулящий ничего доброго. Мужик в фуражке ослепил фонарем городских друзей:

— Ага!!!

Его помощники тем временем что-то пинали у воды:

— Слышь, Кузьмич, тут кажись бредень!

— Чё вопишь! Сворачивай молча! Конфискация, ешь твою!



Кузьмич, видимо, был тут начальником. «Браконьеры» поинтересовались:

— А в чем дело, мужики?

Главный будто не слыхал. Он ткнул фонарем в физиономии:

— Кто такие?!

Ваня залепетал:

— Мы из города... Вот выбрались...

— Ага!!! А я тут главный Рыбнадзор! Сколько поймали?

Ваня указал на котелок:

— Вот, что поймали, все здесь.

«Рыбнадзор» пнул котел, и уха разлетелась по поляне. Тут оскорбился Сергей:

— Послушайте, если мы что-то нарушили... Мы ведь с вами интеллигентные люди... Может, мы просто заплатим?

— А то! Заплатишь, ёшь твою, никуда не денешься!

Сергей метнулся к «Москвичу», вернулся с бумажником. Попытался извлечь из него купюру, но проворный Кузьмич вырвал весь кошелек:

— Давай сюда, не мелочись, интельгент вшивый!

Еще Рыбнадзора заинтересовала машина. Он отвинтил номера:

— Это участковому нашему, для протокола. Презент, ёшь твою! Раскрываемость!

Потрудившись, Кузьмич окликнул своих:

— Э, погрузили? Там на берегу еще спиннинги классные!

По пути к своему катеру Кузьмич распинал костер. Большая головня улетела в палатку и вмиг ее прожгла.

— Слышь, Кузьмич, там лодка у этих, резиновая!

— Порежь ее к лешему! Разъездились, ёшь твою!..

Моторка взвыла, и Рыбнадзор исчез.

...Потом друзья пилили в город. Ваню колотило:

— Слышь, Серега, я этого так не оставлю! Я их... Я на них...

— Что ты на них? Пожалуешься? Так мы же сами виноваты. Браконьерили...

– Ты!.. Блин!!! Я отомщу! Придумаю! Они же твою лодку и палатку... Блин, все твое барахло, все снасти... Деньги... Номера...

Сергей рулил с таким видом, будто его ничто не касается, и друга это бесило. Когда Ваня все же немного успокоился, Сергей изрек:

– «Отомщу»... Номера, Ванечка, вернем. Деньги заработаем, лодку новую нароем, сети сплетем, палатку заштопаем. Жизнь, Ванечка, на этом не кончается.

На горизонте мутнело городское зарево.

– Блин, представляешь, эти гады теперь твой бредень пропивают!

– А, – Сергей махнул рукой. – Лишь бы на здоровье...

Город был пуст. Редкие машины пробирались между выбоинами в асфальте, светофоры мигали желтым...

В понедельник Иван на работу не явился. Позвонил из больницы, сказал: «Воспаление легких, накупался».

А Сергей неделю спустя собирал годовщину свадьбы. Там ему подарили новую лодку, огромную палатку и много-много всего такого, нового.



Как стать успешным



К вечеру запарило так, что просто не дохнуть. Птицы умолкли, муравьи попрятались. Только пара отчаянных ласточек, что проживает под стрехой церковной сторожки, носилась по-над щербатым асфальтом, кем-то питалась. Небо нависло низко-низко. С лугов тянуло медом... Вдалеке уже погромыхивало. На остановке скучали двое: горбатая бабка Маша и он — Гордый.

Старух, подобных горбатой Марии, в мире предостаточно, поэтому описывать ее нет никакой нужды. А вот Мише, которого Семеныч уважительно прозвал «Гордый», требуется уделить немного внимания.

В наше село Миша попал сравнительно недавно и скоро тут прижился. Сошелся с ровесниками — начинающими пенсионерами-выпивохами и «слился с пейзажем». Вот. А поселился Миша по соседству с Семенычем. Так уж вышло.

Поскольку Семеныч — пономарь истовый и по призванию, то, знакомясь с Михаилом, первую же соседскую беседу повел в известном волнующем его направлении:

— Миша, пойдешь нынче ко всенощной?

— Нет, конечно.

— Почему?

— Ты что, дед? Вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, чтоб и я с тобой, как дурак, кому-то там кланялся?! Не-е, я — гордый. И успешный. А это тебе не просто так, этому надо еще научиться.

И Миша прочел растерявшемуся тогда Семенычу целую лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и бодрости. Как чувство гордости помогает достичь успеха и повышает уровень серотонина, а это — «ого-го»! Старенький пономарь переспросил: «сирота Нина?» В ответ Миша высокомерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой и изрек:

— Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спины. А моя спина еще ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот пусть сам передо мной кланяется.

Тут Михаил, конечно, слукавил. «Кому-то» — в смысле Богу Вседержителю — он, понятно, кланяться не привык. Но вот Бахусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что, бывает, встанет перед ним на карачки где-нибудь под кустом и возможности подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько наблюдал, без Семеныча. Да и с Семенычем, признаться, мы видывали его всенощные поклонения языческому Бахусу. Или Дионису. Путаю я их. Село-то — не город, все на виду.

Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презентовал тогда Семенычу брошюрку «Как научиться гордости и добиться успеха». Семеныч по ней учиться отказался, а я в тот глянцевый



самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что, мол, жить с гордостью — красиво, достойно и приятно. Что достичь состояния гордости — целая наука. Непростая. Помню, что жаждущим обучиться гордости полагалось убеждать себя: «Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок, я умею красиво держаться и достойно ходить»... Бедняга Семеныч! Жизнь прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит — штиблеты тянет, и взгляд — в землю, и ссутулится вечно, как... Ну да Господь с ним, с Семенычем. Что-то я отвлекся от рассказа.

Так вот, стояла тишина...

Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тишины. Сделалось сумрачно. Запахло приближающимися осадками. Дал бы Бог, чтоб града не насыпало, не то зерновым крышка. Еще несколько

мгновений, и прилетит прохладный ветер, разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе.

С грозовой стороны к остановке со свистом стремился округлый ПАЗик. Водитель, похоже, пытался опередить приближающуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус мимо остановки лишние метров десять и распахнул дверь. Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, подхватила свой баул и потрусила к автобусу, мимо знающего себе цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный порог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила старушке взобраться внутрь. Ну а успешный Миша состряпал кислую гримасу: «Как карету подаешь, холоп!», с великосветским достоинством засунул руки в карманы штанов и чинно, не торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на уровне второго этажа, грудь — колесом...

Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с треском раскололось. Воздух мгновенно остыл, наполнился озоном. ПАЗик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы...

...Еще в той помянутой брошюрке, что учила граждан гордости и успеху, помню, говорилось, будто бы гордость дает ощущение силы, свободы и высоты положения. «Человек расслаблен, излучает уверенность и спокойствие»...

Спокойствие... Семеныч тоже любит спокойствие. Обычно он созерцает летнюю грозу на своем уютном остекленном крылечке. Представляю, как в непогоду пономарю бывает там покойно и занимательно: с небес — водопад, дорога перед его домиком

раскисает, по ней бурлит полноводный мутный поток. Он несет в реку сельский мусор. Поток с каждой минутой нарастает, появляются пороги, перекаты... Мимо пономарского крыльца Миша спешит домой, торопится, как может. Водитель автобуса — остолоп — видать, не дорос до психологических изысков, не знает болван, что гордые — не фунт изюма, что их полагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже, Михаил с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь. Уже из грязи, «с высоты своего положения», матерится. И спокойствия отнюдь не излучает.

Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как научиться смирению и стать успешным»? Ищу ее, ищу... Я б ему, бедолаге, такую подарил, да где ж ее возьмешь. Нету.



Мангал



Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьевке. Ей только-только перевалило за сотню, но соседи давным-давно уважительно величали ее «наш древний экспонат». Жила бабулька скромно: копалась в огороде, водила гусей, с того и кормилась. Ее единственная дочь — бабушка Маруська — слыла теперь покладистой девкой. В молодости, было дело, покуролесила, но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, почитала ее. Еще в хате водился кот. Других сожителей у старух не было. Не было и родных.

В свою восьмидесятую осень дочка Маруся как-то предложила:

— Ды, мама, ды чаво ж мы на одну-то мою пенсию сучествуем? Давайте вам хочь какую копейкю выхлопочем. Вон, картоху не покупають. Сорок мяшков сами-то что ль с вами поядим? Ехайте в район, хлопочитя.

Бабка Фрося привыкла от зари до темна трудиться и совершенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет сорок назад, когда она — бывшая до войны «элементом», а весь оставшийся век «пережитком», потому

как богомольная — сунулась хлопотать о пенсии, с нее затребовали колхозные справки. В колхозе бабка не состояла, поэтому справок у нее не нашлось. Каким-то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе все же справила, но с тех пор о «хлопотаниях» она и слушать не желала. А посему осадила «дочкю»:

— Табе надо, ты и ехай. Чаво не хватает? Землю, как в те года, не отымають, картох Господь нонче сколь послал, авось продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит... — она взяла буханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючковатому и с наслаждением потянула воздух: — Это ж не хлеб — пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился.

Бабка Маруська покорилась матери и решила сама на досуге съездить насчет ее пенсии.

И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. До хлопотаний ли? Дожди на носу, а картошка не пристроена, огород не вскопан, дрова не колоты, трубу бы еще к зиме переложить... «Ничего, женщыны мы ищо — хоть куды. Бог даст, все осилим».

Старшую бабку на огород последние лет пять провожала младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках все еще пребывала и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы передвигаться, эти «прыткие» ноги надобно переставлять, а как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Маруся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале огородной полосы, перегнет ее пополам и вручит на потребу инструмент. Полоть — значит тяпку. Копать — значит саперную лопатку. Так до заката бабка и движется по грядкам носом вниз, где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вечером — все в обратном порядке: дочь мамку разгибает и транспортирует в хату.

Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой привычный уклад. Как-то в ту осень бабка Фрося отработала свой «трудодень» до срока, не стала дожидаться дочери, попыталась разогнуться без подмоги. Тут-то ее нога и подломилась. С закатом Маруська нашла мать, лежащую в борозде и что-то бормочущую.

Врач прибыл уже к ночи. Осмотрел старуху, объявил: «Перелом». Еще он рассказал дочери, что в таком почтенном возрасте переломы не устраняются. Потом отвел бабку Марусю в сторонку и предупредил, что ей придется туго: сердце у пациентки «как молодое», здоровье лошадиное. Когда-когда еще помрет, а до этого ее, лежачую, надо обихаживать. Дочка пока еще не понимала, что за беда приключилась в их хате, она с улыбкой отмахнулась.

Когда врач спускался с крылечка, он обернулся и спросил:

— Да! Старушка-то... приезжая что ли? Карточку-то ее мы не нашли?

— Своя, своя, — закивала дочь, — усю жизню наша, воробьевская. Она просто в больнице ишо не бывала, вот и... Здоровая она у мене, вот и...

Удивленный врач покачал головой, улыбнулся.

И у старух началась новая непривычная жизнь.

Маруся теперь горбатилась за двоих. Благо вскоре зарядили осенние дожди. Село раскисло. За порогом хаты стихла всякая суета. В порожние часы бабка Маруся присаживалась на мамину койку, устраивала бабку Фросю в подушки, и обе старушки давили локтями подоконник. А за окном серо. Облетевшая груша царапает веткой стекло, намокший воробей нахохлился и скучает. Иной раз посеред дороги угрязнет грузовик...

Первый снег выпал и сошел. Второй улегся надежно. Вот и все новости. Хотя... одна новинка завелась-таки в убогонькой старушечьей хате. И название у нее заморское — «памперсы». Насколько сильно это явление «кусается», бабка Маруся сообразила скоро. Картошку она продала, пенсию получала исправно, скоро уже и гусей щипать-торговать — Рождество вот-вот. Обычно к концу года в хате заводилась копеечка, а теперь что-то ее нет. Бабка Маруся стала смекать, что наступил досуг похлопотать в районе о маминой пенсии, и, собираясь с гусями на базар, она решила посетить собес. Матери, правда, не сказала, молча захватила ее паспорт...

Воробьевских гусей в районе ценили. Бабка расторговалась, когда еще хмурилось декабрьское утро, и прямиком — в собес. К вечеру подошла ее очередь. Уставшая за день работница взяла у старушки мамин паспорт и с недоумением его разглядывала. Потом встрепенулась и возмутилась:

— Что вы мне голову морочите? Какую вам надо пенсию? Какой еще маме? Вам сколько? Восемьдесят? Ааа... понятно... А какой сейчас год? Ну да, ну да, двухтысячный. В здравом уме значит... А месяц? Ну правильно, декабрь... Ничего не понимаю.

Она с недоумением разглядывала пожелтевший паспорт с буквами СССР на корочке, где на первой странице внизу, в уголке, с желтой фотографии 3x4 застенчиво улыбалась пожилая крестьянка в черном платке, а год рождения этой самой крестьянки обозначался позеленевшими чернилами. Работница позвала:

— Лен, Люд, пойдите сюда, чего покажу.

Из-за соседних столов выпорхнули молодые чиновницы.

— Вот...

— Что? Какого года? 1899? Где это вы такой паспорт взяли? В музее? Какую пенсию? Ну-ка...

Одна из подошедших пощелкала на компьютере.

— Нет у нас в районе таких. Не значится. Вы, бабуля, не староваты мошенничать-то? Какая еще мама? Нет, ну предположим, мы вам верим. А документы? Что «паспорт-паспорт»? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет? Ну не знаю. Это вам надо с начальником. Только его... Он... Знаете что, сходите в архив... или в райадминистрацию...

* * *

Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание в сравнении с беспомощностью сущие мелочи. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась. А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать, пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруська замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается, и... «Марусь... кхе-кхе... кяаааа!» Передышка, и снова: «Марусь... кяаа-аа-ааа». Маруська, заслышав придушенное «кяаа-аа-ааа», отвлекается от справы, прислушивается и: «Бягуу!!! Бягууу!!!»...

...Давно стемнело. Прикинув, что мама за день изволновалась и сорвала воплями глотку, Маруська безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо до электрички оставалось еще время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своем кресле. Водитель топтался в приемной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу.

— Что у вас? Откуда? А, Воробьевкя? Воробьевочкя?

Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьевцами. Уж больно потешно те разговаривают. Не «селедка» говорят, а «сяледкя», не «пьют молочко», а «ядять молочкё». С непривычки так не сразу выговоришь.

— Так. Насчет пенсии... А собес что? Вот ведь бара... Ко мне-то зачем... отвертелись, парази... Что еще за паспорт? Ну-ка... Это... Ого! Она что, живая?! Поможем, обязательно! Материальное это, да... Благостояние граждан. Вот ведь экспонат! Наш долг каждому... Принимать участие граждан... Поможем. Да-да. Езжай домой в свою эту... как?.. да-да, Воробьёвкю, хе-хе! Леночка, зайди! Отчет еще не отправляли? Переделайте... там это... Сколько хрычевке-то? Ну, маме, маме! Сто? Рекордсмен района, показатели переделайте, мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите считайте... Всё, бабуля, домой, домой, к маме. Ждите, поможем... Леночка, запишите ее: кто-что... и все такое...

Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось — перестали. Затянули пояса, как могли, и когда начался Великий пост, они не заметили на своем столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбала причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придется приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала... Покумекала, да «куды денесся», и послала дочь за попом.

Батюшка явился через три дня, как и обещал.

— Здрассьте, хозяйки, мир вам. А, Евфросинья! Так вот кто у нас слег! Конечно, как же не помнить!



Феноменальная вы. Пятнадцать лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь. Да... Так что вы, готовы? Ну давайте. Сначала исповедь.

Священник проводил «Маруськю» в «запечкю», чтоб не подслушивала, накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и зашептала:

— Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До финской ишо, когда папаню релюцанеры убили... Потом, когда Петенька в финскую исгинул...

Я уж и плачу, все прошу, прошу: Господи, прибери ты мине. За чево мине это... Столь годов, одно молюсь, одно прошу. Маруськя измучилась... Чаво? Пост? А как жа, держим. Чаво? Нет, не ругаимси. Молитвы? Дак я их издетства читаю. Чаво? Как при царе-то жили? Дак, а чаво говорить-то? Все помню... И как церкву у нас строили, и как архирей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то на крылосе. Ух, и голосистай был! И как рушили потом... А вот ты скажи: кажинный год все спрошаю, как молиться, чтобы поскорей... За что мине такое наказание Бог послал... Да, чево ты все «нога»-то? Не нога наказание — жисть. Жисть — наказание... Лет сорок уж все прошу, прошу... Какой это тебе грех? Не грех. Грех это — в петлю, руки на себе наложить, а молиться-то рази — грех? Какое ишо уныние? Уныние-то, знамо — грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету... На тот свет давно пора...

Батюшка причастил лежачую прихожанку. Перед тем как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Евфросинье, что станет молиться, чтоб Господь ее прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он и не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок и на первой же литургии вынул частичку «о здравии и спасении рабы Божией Евфросинии». И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И о еже умножитися ей лета живота ея».

...Христово Воскресение в хате встретили весело. Маруська придвинула к болящей койке стол, на стол водрузила жареного гуся. Каждую Пасху так. Зубов нет у обеих. Бывает, полижут, пошамкают. Кот уж за всех разговеется. Как смогли пропраздновали Светлую. Раз соседка в гости заходила, другой раз сосед наведался...

Накануне Дня победы Маруська одолела огород — посадила картошку. Трещины на руках забились землей, черные пальцы перестали отмываться. С вечера оттирать их она поленилась. Потом пожалела...

А в День Победы радио играло марши, передавало московский парад. Маруська стояла у рукомойника и железной щеткой пыталась привести руки в праздничный вид, когда к их дому подрулил УАЗик. Из него выпорхнула барышня с фотоаппаратом и ласточкой влетела в хату. Поздоровалась, назвалась корреспондентом районки и велела хозяйкам приодеться, потому что с минуты на минуту прибудет сам районный глава проведать старожилов-ветеранов, оказать достойную помощь, а она, значит, это торжество станет фотографировать. Бабка Фрося на своей кровати от волнения сразу онемела, а Маруська начала заикаться. С горем пополам корреспондентке все же удалось выяснить, где у старушек хранятся чистые платки, найти их и повязать обеим «ветеранам» седые головы. Сразу после этого возле хаты заскрипела тормозами административная «Волга».

Глава появился в убогом жилище шумно. В руках барышни-газетчицы заклацал затвором «Зенит», вспышка ослепила старух и еще больше их взволновала. Гость зашумел «речь», в которой говорилось, в том числе, и о достижениях района. Ну, как вот только что, на митинге, перестроиться не успел. Окончив говорить, присел на кровать к болящей бабушке Фросе, расплылся в улыбке, и фотовспышка опять уколола старух сквозь влажные глаза прямо в мозг. Что-то говорил глава про оказание помощи пожилым, про выборы... От волнения старухи ничего не разобрали. Распрощался почетный гость так же внезапно и шумно, как и появился. Когда он вышел,

в хате появился его водитель и сообщил хозяйкам, что всем ветеранам района от лица главы сегодня раздается «матерьяльная помощь» и что их «помощь» он в хату не понесет, оставит на крыльце, «сами потом разберетесь».

После дорогих гостей бабка Фрося и ее старенькая дочь Маруся долго сидели друг против дружки, все не могли опомниться. Солнце в расшторенное корреспонденткой окошко заливало их комнату лаской. В солнечных лучах висели пылинки, растревоженные гостями. Протертые половики заботливая газетчица сгорнула к печке, «чтоб гостям не споткнуться». Маруська отрешенно смотрела на древние доски пола. В одном месте под слоями краски бугрилась квадратная шляпка гвоздя. Из щелей в полу тянуло прохладой и плесенью. Когда она успокоилась, то спохватилась, что не спросила у начальника про мамину пенсию, но было уже поздно. Погоревала, вздохнула. Расправила половики. В окно увидала, что гости бросили калитку распахнутой, и пошла ее закрывать...

...Материальной помощью для ветеранов в том памятном году стали сварные мангалы, которыми был завален склад маленького районного заводика. Железо, из которого их произвели, назначалось на ремонт вагонов, но некстати приключилась всероссийская независимость и ремонт вагонов прекратился. Мангалы получились неподъемными, богатыми и сразу ржавыми. Раскупать их никто не торопился. На кой? На мясо-то денег нет. В комплекте к мангалу полагались и шампуры. Их произвели из арматуры. Надежно. Однако даже в такой справной комплектации это страшное изделие не брали.

Пыльный мешок, в котором покоился очередной мангал, водитель главы оставил посреди крыльца.

Бабка Маруся шла закрывать калитку, сослепу его не заметила. Споткнулась, упала, сломала ногу, ушибла голову. До сумерек пролежала под праздничным майским солнцем на крыльце. Ни разу не охнула. Временами приходила в память, пыталась подняться, а нога подламывается. Временами теряла сознание, и беззубый рот ее начинал младенчески улыбаться.

Уже в сумерках заглянула соседка — увидала распахнутую калитку, забеспокоилась. А тут и болящая в хате как раз принялась петь свое «Марусь... кяааа!»

Черемуха в ту пору еще не отцвела...

Рабу Божию Марию отпевали там же, в хате. До церкви везти машины не нашлось. Хотя кому ее — машину-то — особо искать? Кое-как пристроили гроб подле маминой кровати. Батюшку соседка привезла — и то ладно. Батюшка все жаловался, что тесно, мол, вокруг гроба никак не просунуться.

Гремело кадило, Маруська лежала вся в черемухе и улыбалась...



Поповская журналистика



Отец Георгий из села Горянина на девятом году нового тысячелетия получил высокое благословение издавать приходскую газету.

Что ж, дело нужное. Жить по-старому в новом веке не годится. Все ближайшие к Горянино приходы уже занимаются полезной издательской работой. В соседнем Бобрешово, например, настоятель печатает на принтере и раздает в церкви свою газету «Бобрешовская вера». Другой сосед — настоятель из села Лунино — выпускает «Лунинский трезвон». А Котельниково, которое лежит от Горянина километрах в тридцати, уже читает издание своего батюшки под названием «Тяжкий крест».

Ходить в отстающих отец Георгий не привык и благословение принял.

Поначалу, правда, немного встревожился, ведь чтобы верстать газету, нужно владеть компьютером, а лысеющий батюшка так до сей поры и не усвоил, чем отличается оперативка от операционки. И клавишу «контрал» отец Георгий опасливо величает контрой. Выручил Давид, батюшкин сын. Он прибыл

к отцу из города на весь отпуск и пообещал, что газету сверстает и распечатает. Выходит, отцу Георгию осталось лишь нарисовать эту самую газету, начертить, так сказать, макет.

С журналистикой отец Георгий знакомства покуда еще не сводил. Ну а чего тут, с виду наука-то нехитрая — пиши-рисуй...

...На столе, утвержденном подле окна, батюшка разложил чистый лист стандартного формата. Взял остро заточенный карандаш и разлиновал этот лист, обозначив будущие места лозунга и названия. Потом разметил ячейки для будущих материалов. Пока все получалось и дело, казалось, спорится. В правом нижнем углу батюшка отбил немного места для наглядной агитации — по примеру известных газет задумал внедрить туда полезную проповедническую картинку:

— Что бы этакое туда нарисовать для людей полезное..? От Писания бы... Хм... — батюшка наморщил лоб. — О! Придумал! Нарисую туда, как пророк Иона стоит перед огромной тыквой и, удивленный, разводит руками. И подпись надо сделать. Вот, мол, как должно хозяйствовать на земле — с Божьей помощью! Точно! Агроном увидит, авось призадумается.

Чтобы не забыть свое озарение, настоятель спешно набросал контуры будущей агиткартинки — маленького огурцеобразного человечка перед чудовищной тыквой, смахивающей на помидор.

— Так... дальше... Чтоб для пользы дела... Сюда вставим статью про пост, а сюда сочиним и влепим фельетон про Петровну. Точно! И карикатурку надо, мол, ведьма Петровна-то, — батюшка хихикнул.

Он обозначил крестами занятые площади. Вот, кажется, и все, первая (она же и последняя) полоса, как будто заполнена. Осталось придумать газете название.

Отец Георгий почесал карандашом возле уха и посмотрел туда, где должно находиться название. Призадумался:

— Так... Какие они вообще бывают..? Так... — он полез в книжный шкаф, извлек стопку церковных газет, которые уже издаются соседними приходами, разложил их перед собой и принялся изучать:

— Та-ак... «Лунинский трезвон»... Хм... Трезвон... Так-так... Нет! У самих, главное, и колокольни нету, а туда же — трезвон! Чем трезвонить, лучше б колокольню построили. Тьфу! — батюшка отложил лунинскую прессу.

— Так... дальше... «Бобрешовская вера»... — отец Георгий озадачился. Неужели в Бобрешово вера не такая, как в его Горянино?.. Поразмыслил-поразмыслил, да как прыснет:

— А ведь правда! Не такая! Таких Вер, какая у них в сельмаге торгует, у нас не найти! — он вспомнил десятипудовую тетку Веру, что занимает половину магазина в Бобрешово, и расхохотался, — ох-хо-хо, ох, Бобре... Бобрешовская Вера... Ох... Михайловна... Ох...

Когда отсмеялся, подошла очередь газеты «Тяжкий крест». Батюшка подержал ее несколько минут в руках, припомнил котельниковского настоятеля, покосившуюся котельниковскую церквушку, их разоренную школу, развалины телятника, отпевание и похороны единственной старухи-певчей, лицо тамошнего священника, которого благословили издавать приходскую газету аккурат после того, как у единственного в Котельниково мужика развалился дряхлый чихающий трактор... Батюшка опечалился и сник...

Придумать своей газете название оказывалось не так-то уж и просто. «Горянинский благовест» — звучит избито. «Горянинское кадило» — слишком

заупокойно. «Горянинская правда» — по-комсомольски. «Вечернее Горянино» — вовсе не церковно... Батюшка перебирал в голове названия известных старинных советских газет в надежде на легкий и незаметный плагиат, но — увы. «За рубежом», «Труд», «Известия» и «Гудок» никаким боком не лепились к горянинской жизни. «Литературная газета», «Пионерская правда» и «Советский спорт» тоже. Их названия вовсе к приходскому быту не пристраивались.

— Нужно ведь так, чтобы звучало ярко и было полезно. Прочел, например, всего лишь название, и сразу — слезы и покаяние. Ну или прочел, усовестился и бросил ругаться. Ну или пить. Или просто задумался о Небесном Царстве... Так... Стоп! — батюшку осенило: — Ну-ка, ну-ка... А что если... «Небесное Царство», а? — лицо отца-редактора просияло. — Именно, именно! «Небесное Царство»! Газета прихода Никольского храма «Небесное Царство»! Ух, звучит!

Батюшка обрадовался, успокоился, разулыбался. В его голове нарисовалась идиллическая картинка: Архиповна спускается по церковным ступенькам, навстречу ей кума: «Что нонче в церкви раздавали, Архиповна?» А та ей: "Небесное Царство", кумушка...»

— Хм-м... Стоп. Если рассматривать с этой стороны, то название не годится.

Отец Георгий огорчился. Он в задумчивости постучал карандашом по лбу.

— Хм... А что если... так: «Ключи от Царства Небесного»... А что? Ну-ка?.. — Он попробовал вообразить прежнюю картинку с новыми обстоятельствами: Архиповна спускается с церковной паперти, навстречу ей кума: «Что это у тебя, Архиповна, из кармашка торчит?» — «"Ключи от Царства Небесного", голубушка. В церкви всем сегодня выдают...»

Отец Георгий замотал головой:

— Нет, нет, нет. Не пойдет. Этак, что-то уж шибко двусмысленно. Вроде того, как... Нет, нет...

Журналистика священнику явно не давалась. Отец Георгий напрягался и успокаивался, изобретал новые названия, морщился и отметал их. Сквозь свои напряженные думы он глядел в окно. Там, за стеклом, искрилось в пруду закатное солнце, храм над прудом в его лучах ярко розовел. Возле настоятельской изгороди стоял опершись нетрезвый Лукич. Тот самый Лукич, который за глаза поругивал отца Георгия. То самый, который, было дело, варил суп из настоятельской курицы, что по недоразумению пробралась на его двор. Тот самый Лукич, который любит выпить и поорать похабные частушки как раз под воскресенье, когда батюшка готовится к службе. Тот, который на все настоятельские обличения отвечает матом. О, сколько же бесценного бисера разбросал перед этим Лукичом отец Георгий! Всё без толку. Видно, не мог найти подхода к его спящей христианской душе, не мог ее растормошить. Точно так же, как сейчас, с названием газеты, не может найти одного слова, всего одного, которое бы обожгло, отрезвило...

Батюшка глядел на Лукича и все думал, думал...

Лукич докурил свою цигарку, высморкался, вытер сопли о калитку отца Георгия и побрел себе шатаясь. И тут отцу Георгию показалось, будто он ощутил то неуловимое емкое слово, которое возвращает смысл любой жизни! Так ему почудилось. Он тут же склонился над разлинованным листом и заскрипел карандашом. Название выходило округлым, ощутимым, выпуклым. Вдохновленный отец Георгий давил на карандаш, выводил буквы отчетливо, жирно. От карандашного скрипа по спине бежали мурашки...

Он выдохнул только тогда, когда дорисовал последнюю букву газетного названия. Выдохнул, расслабился и посмотрел в окно. Оказалось, Лукич не ушел. Он упал, извалялся в пыли, пытался подняться, вставал на четвереньки и снова падал. Батюшка нахмурил брови и принялся пририсовывать к названию восклицательный знак. Нарисовал, покачал головой, задумался. Нарисовал второй. Попытался было добавить и еще один, но карандаш сломался. Отец Георгий отправился карандаш наточить, да что-то долго там с ним замешкался, отвлекся...

...За окном начинали собираться темные облака. Мухи перестали жужжать и биться о стекло. Когда солнце село, тучи совершенно заволокли небосвод и на горянинскую землю упали первые теплые капли. Запахло прибитой пылью. Немного погодя небо полыхнуло и гром прокатился по окрестным полям. Батюшка вернулся с карандашом и распахнул окно. Ветер ворвался в комнату, смел со стола все плоды приходской журналистики, в которых метко отразились переживания отцов-редакторов, и разбросал бумаги по полу. «Бобрешовскую веру» придавило «Тяжким крестом». Обособленно от готовой печатной продукции, посреди комнаты, приземлился проект нового эпохального творения. Отец Георгий опустился перед ним на колени и дорисовал третий восклицательный знак.

* * *

В свой срок наступило воскресенье. Денек выдался хоть куда! Комбайны вышли в поле еще до зари — уборочная стартовала. У совхозного руководства в том году были неплохие виды на урожай. Из церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтех-

ника маленькими красными букашками расползлась по дальнему золотистому полю. Батюшка вдохновенно служил. Радовался лету, солнцу, жизни. Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, забралась на колокольню и провожала трезвоном всех пятнадцать нынешних прихожанок аж до самых дворов. Как и мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума. А у Архиповны как раз торчала из кармана замечательная свежая газета, которую набрал Давид, сверстал ее по рисунку отца Георгия и распечатал на ветхом принтере.

В этой газете все было, как и планировалось: и пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну. Выстраданное название газеты «Царство тебе Небесное!!!» пачкало пальцы читателей своими жирными буквами...



Падение Веги



В том памятном году ветхий барак Костика наконец-то дождался сноса и Константин с матерью переехали в новый район.

Просторная однокомнатная квартира на восьмом этаже всеми двумя окнами смотрела во двор. В подъезде пахло краской, кнопки в лифте светились желтеньким. И школа, куда он перешел, тоже пахла краской. На ее фасаде красовался портрет нового моложавого генсека партии. Его лицо излучало оптимизм. Школа — посреди двора, ее фасад обращен к подъезду. Можно смотреть на генсека хоть из своего окна, хоть со стороны подъезда или, скажем, двигаться по тропинке к школьному двору, и всегда все взоры встречаются с его взглядом. Костику это сразу понравилось.

Осваиваться в новом коллективе всегда не просто...

Новая классуха оказалась дамой в возрасте. Она представила Константина седьмому «А» и указала его место во втором ряду. Костик сел и осмотрелся. Новые одноклассники облачены в синюю форму,

а девчонки — в коричневые платья. Как будто ничего нового, все как в любой другой школе. Единственным, кто в классе выделялся, был белобрысый рослый парень. Он, одетый в вязаный свитер, восседал один за самой дальней партой. Перед ним не было ни учебников, ни тетрадей.

Костика разместили с тихим пацаном по имени Леха. На уроке Костик шепотом поинтересовался у соседа о том, кто таков тот рослый белобрысый там, на «камчатке». Однако Леха оказался неразговорчивым. Буркнул только, что все в школе зовут его Вега. От вопроса «почему Вега?» Леха отмахнулся, сам, дескать, скоро узнаешь. И добавил, что Вега второгодник, два года пропустил потому, что сидел в колонии, «сам нам рассказывал. И лучше бы тебе с этим Вегой не связываться».

Вскоре Константин действительно близко познакомился с выдающимся второгодником. Это произошло на перемене. Костик спустился на первый этаж, и его освистом окликнули из-под лестницы:

— Новенький, сюда иди!

Костик подошел.

— Слышь, сопля, курить есть?

Костик попробовал возразить, мол, я не сопля, и тут же получил в ухо:

— С сегодняшнего дня я зову тебя Соплей и ты откликаешься. Ясно?

Костик всхлипнул, схватился за ухо и кивнул, а Вега продолжил:

— Повторяю вопрос: курить есть?

Костик не курил и сигарет у него не водилось. Он отвел взгляд и снова получил:

— На этот вопрос ты не должен отворачиваться, ты должен молча дарить мне пачку. И запомни,

советские я не курю! Будешь всегда приносить мне эти! – белобрысый вынул из брючного кармана пачку болгарской «Веги» и помахал у Костика перед носом.

– Теперь, Сопля, вали учиться. Учти, если завтра курить не будет, я с тобой поговорю уже не так ласково.

Своим ботинком сорок третьего размера Вега поддал Костику под зад, и тот взлетел по лестнице.

...В окно класса стучался осенний дождь. Алгебра совсем не лезла в Константинову голову. Он смотрел на доску, но видел перед собой только белобрысую рожу Веги, его блестящее колечко в ухе. За такие колечки, как ему когда-то объясняли, «хиппарей штрафуют». «А этот... надо же, ухо проколол. Видать, никого не боится. Говорят же, что в колонии побывал». Леха косился на покрасневшее ухо новенького и ухмылялся:

– Что, познакомился с этим? Узнал, с чего его Вегой кличут?

Ненавистная физиономия мерещилась в глазах. Костик не мог считать на алгебре то, что ему задавали – он считал в уме деньги, которые предстоит теперь где-то добывать, чтобы покупать белобрысому сигареты. А еще Костик понял, что боится. Он впервые боялся и не знал, как ему быть. Пожаловаться? А кому? Друзей здесь еще не нажил. Матери? Куры засмеют. И драться бесполезно – Вега на голову выше и в плечах прилично шире будет. Ох, заживется теперь Костику на новом месте! Да и Соплей еще называться не приходилось...

От досады наворачивались слезы...

...Матери дома не было. «Это хорошо – не спросит про опухшее ухо, не придется врать». Костик проверил свой новый тайник в новом шкафу, куда

он недавно перепрятал карманные деньги, пересчитал его содержимое и понял, что трех рублей, которые у него скопились, надолго не хватит. Где брать еще — задача неразрешимая. Мать получает, как все — сто двадцать, и других поступлений в семье не бывает. В холодильнике Костик нашел остатки завтрака — вареную картошку. Разогрел ее, но еда не лезла в глотку. Слезы душили. Он решил заняться уроками, уселся в комнате на койку и открыл дневник. Оказалось, что он и задание не записал, от обиды.

Немного погодя Константин оделся, спустился к подъезду и уселся на скамейке. Мимо спешили редкие прохожие, но и этого хватало, чтобы чувствовать иллюзию чьего-то участия.

Сеялась морось, разыгрывался противный ветерок. В этот час Константину показалось, что нет на земле существа более одинокого, чем он. Из-под скамейки послышалось жалобное «мяу». Костик нагнулся и извлек оттуда мокрого дрожащего котенка. «Бедненький». Когда он взял дрожащий комок на руки, ощутил себя совсем не таким уж и одиноким. «Хоть кому-то я здесь нужен». Котенок пригрелся и принялся мурлыкать. Костик засунул его за пазуху, и тот перестал дрожать, задремал. Народ потянулся с работы. В окнах школы засветились яркие огни — заканчивалась вторая смена. Генеральный секретарь все так же бесстрастно следил со школьного фасада за своими подопечными гражданами.

Вскоре к подъезду подошла и Костикова мать. Хорошо, подумалось, что уже сумерки, а то увидала бы ухо, стала бы допытываться. Мать спросила, купил ли Константин хлеба? А про хлеб-то он за весь день ни разу не вспомнил! Она вручила ему два гривенника и отправила в гастроном.

Уже с буханкой белого и котенком за пазухой Костик наведался в бакалейный отдел, поглядел, сколько стоят сигареты «Вега», и окончательно сник.

На улице почти стемнело. У входа в гастроном качался на ветру фонарь...

Обратной дорогой, когда он проходил подле темных гаражей, послышалось, как чей-то незнакомый хриплый голос его окликнул:

— Э, Сопля! Сюда иди!

Костик оторопел. Выходит, *так* здесь его будут звать теперь все! Он остановился, оглядел темноту. В гаражном просвете толпились трое. К ним откуда-то услужливо подбежал четвертый, тут же получил в ухо, пригнулся и залепетал:

— Слышь, кончай, я обещаю, все сделаю...

От следующей затрещины его лепет прервался. Тот, кого называли Соплей, захныкал, а один из подозвавших ему внушал:

— Ты знаешь, Сопля, что у нас в армии с такими делали?! Знаешь?! — и засветил несчастному в глаз.

Сопля жалобно зачастил, что он все сделает, как обещал, что он все понял. В завершение Костик расслышал, как тот, кого звали «Сопля», умолял не бить его и жалобно добавил, что в чем-то клянется: «Век воли не видать».

Трое заржали: «Гляди-ка, и где только словечек блатных нахватался!» Двое Соплю развернули, третий поддал ему пинка. Тот, кого называли Соплей, ветерком пронесся мимо Костика, что-то выронил, исчез во дворах, а трое растворились в темноте между гаражей.

Костик отправился к дому, машинально поднял то, что выронил убежавший.

На восьмом этаже светится окно его кухни: «Мать готовит ужин». За пазухой заворочался котенок, и Костик впервые подумал о том, что взять его в дом мать вряд ли позволит. «Но ведь можно хотя бы попытаться?» Ему до икоты стало жалко всех бездомных котов. Его теперь распирало чувство сострадания и жалости ко всем, кого бьют и унижают. Ко всем, за кого некому вступиться. Чувство обиды за себя куда-то вдруг провалилось и затерялось там. Обидно стало за того, другого, который вот только что побывал в его — Костиковой — шкуре.

Морось прекратилась, показались звезды. Фонари на школьном дворе тускло подсвечивали моложавого генсека КПСС, казалось, что глава государства выглядывает из тени и всех видит. Костик вошел в свой сухой теплый подъезд, пахнущий краской. Вызвал лифт.

По квартире плавал аромат пельменей. Мать велела Костику раздеваться и садиться ужинать. И котенку она отчего-то обрадовалась.

Когда Костик водружал на гвоздь свою куртку, из кармана выпало то, что он поднял там, на пути из гастронома. Это была пачка «Веги» с остатками сигарет. Из-за полиэтиленовой пленки выскочило и запрыгало по полу блестящее алюминиевое колечко-клипса. Это колечко Костя сегодня уже видел и хорошо его запомнил. Он его подобрал, понес вместе с пачкой к мусорному ведру. Мать увидела и отобрала:

— Скоро дед приедет погостить, он болгарские уважает. Знаешь ведь, у него в деревне кроме самосада курева теперь не достать. Помнишь, как ты ему из города наши курские «Столичные» от меня передал? А он попробовал — и в печку? Хе-хе! Дрянь, го-

ворит, забудьте, говорит, как в мой дом всякую вонючую ерунду волочь!

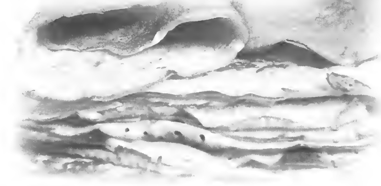
Мать зачем-то вынула из болгарской пачки сигареты и с удивлением прочла на них: «Столичные Курск». Плюнула:

– Тьфу! Дрянь! А туда же – Вега! Чуть деду не подсунули!

Костик улыбнулся. Он и сам знал, как должно относиться к ерунде. К «вонючей ерунде». В любом случае не бояться.



Наше наследство



Одному моему знакомому священнику как-то раз улыбнулось лично поучаствовать в народном обряде. Сам мне по секрету открыл. Дело было так.

После семинарии, когда ему едва исполнилось двадцать три года, он получил назначение в сельский приход. Сразу туда и отправился. Село не маленькое, старинное. Церковь в селе разрушена. Батюшка — в ту пору он еще обладал здоровьем, глаза, что называется, горели — вдохновенно принялся за дело возрождения.

Не прошло и недели, как его пригласили на поминки, сороковой день кому-то подошел. Священник помолился с людьми в доме усопшего, затем посетил его свежую могилку. Всюду батюшку сопровождал благообразный старичок по прозванию Петрович, который в отсутствие батюшки руководил на селе всеми благочестивыми традициями. И вот священник, Петрович и сродники усопшего вернулись с погоста в дом, где уже накрыт поминальный стол. Кадило повесили на гвоздь, совершили у стола молитву,

пропели «Вечную память». Батюшку усадили во главе стола, Петровича рядом с ним, «как-никак одно дело делают».

Наполнили чарки, воцарилась тишина, и батюшка произнес в утешение родственникам доброе слово о вечной жизни на небесех. Петрович предложил молодому настоятелю выпить первым. И пока в мертвой тишине священник тянул из своей стопки вонючий самогон, Петрович положил на его тарелку закуску — темный мягкий, распаренный блин. Забрал у настоятеля опорожненную стопку и указал, что надо, мол, закусить именно этим блином: «Традиция». Батюшка принялся откусывать от прогорклого блина. Пока он ел, народ сидел с поднятыми стаканами и молча взирал. Когда же священник проглотил последний кусок, Петрович воскликнул: «Все! Понеслась душа в рай!» Тут стаканы с грохотом сдвинулись, застолье зашумело и понеслось. Под поминальный гвалт священник поинтересовался у Петровича, что, мол, все это обозначает: тишина, блин на закуску, «понеслась душа в рай»? Тот был удивлен, что священника в семинарии не обучили таким знаменитым исконным обрядам, и восполнил пробелы в настоятельских знаниях:

— Попа до тебя у нас лет семьдесят уж как не было, но вот этот обычай все мы знаем. Жила когда-то в нашем селе залетная монашка, от гонений спасалась, что ли. Она-то меня и научила. Когда свежего покойника укладывают во гроб, для него, чтоб душе не было голодно, требуется испечь блин. Один-единственный. Ну, съесть-то его покойник, знамо, не может, вот и укладывают этот блин ему на лицо. Три дня, покуда мертвец в доме, полагается читать Псалтырь. Ну и блин на лице маслить, чтоб не засох. Потом по-

койника — на погост, ну а блин — во святой уголок, под иконки. Священное это все, испокон. Ну а на сороковой день блин с образов сымают, отпаривают и старшему, самому почетному на поминках, полагается священный тот блин вкушать. Как съел — не поперхнулся, так, стало быть, и понеслась душа в рай. И людям отрадно, что так все, свято от века. Раньше тот блин я вкушал, ну а теперь у нас батюшка есть. Вот ему-то, то бишь тебе...

Настоятеля тогда шибко скрючило. Побежал, даже кадило не успел с гвоздя подхватить.

И традицию эту народную батюшка в своем приходе сразу же пресек. Поселяне было возмутились, да благо Петрович оказался старичком душевным и кротким, сам отнесся к настоятельским новомодным распоряжениям с пониманием и людей успокоил:

— Батюшка, — говорил Петрович, — молодой, городской, желудком слабый. Вы уж другой раз тот блин потихоньку мне... того... пока он не видит. А то как же... надо ведь как положено, чтоб душа... в рай. Обычай все-таки.

* * *

До рассвета еще целый час. Именно в такое время Петровна спешит в один из домов, где сорок дней назад кто-то преставился. Ее голова обязательно закутана в черный платок. Зимой и летом — одним цветом. Черная юбка тянется по земле, под мышкой таинственная книга, утратившая от ветхости свой переплет. За такой необычный образ местные обыватели прозвали Петровну монашкой. Она этим своим прозвищем гордится и высоко задирает нос.

Петровна не слыхивала о загробных мытарствах души, Петровна ничего и знать не хочет про Божий суд. В церкви Петровна не бывает и, разумеется, не верит, что когда в сороковой день душа усопшего становится перед Господом, родственникам надо бы молиться, усердно просить, чтобы Бог простил усопшему грехи и допустил его до райской жизни. Такие подробности Петровну не занимают.

— Покойнику теперь все равно, а нам, — говорит она, — надо сделать как положено. Как испокон веку делали. Чтоб никто не осудил.

И спешит скорее править свою «сорокоушку».

Вот по ее приказу посреди дома установлен стол — сорокоушка стартовала. На столе — хлеб, чтобы кормить душу, вода, чтобы душу умывать, рушник, чтоб вытирать душе физиономию. Ну и водочка, чтоб душку поить и утешать. На закуску душе усопшего — холодец. Ну а если пост, то уж, как водится, по-постному — колбаса. Лучше мягкая «Любительская», ведь с зубами у Петровны дело дрянь. Монашка сама от имени покойного опрокидывает стопку, долго беззубо закусывает колбасой. Родственники выстроились поодаль, перешептываются:

— Во, хорошо душке, правильно, что не самогон выставили, а на «Столичную» раскошелились.

Монашка прожевала, стоит задумавшись. Наливает еще. Сродники в недоумении:

— Гляди ты, первая не пошла! Видать, у покойника грехов!..

Петровна опрокидывает вторую, кряхтит, занюхивает буханкой. Зажигает свечу, раскрывает свою замусоленную книгу. Косоглазо в нее глядит, щурится, начинает что-то бубнить. Родственники облегченно вздыхают:



— Слава Богу, покойнику теперь радость. Улетит, как миленький! Ну как бы мы без Петровны.

Монашка заводит свое ритуальное пение сперва полушепотом, гугниво. Потом «Столичная» Петровну румянит и ее голос крепнет, крепнет, крепнет... И вот уже внятно промелькивают отдельные жеваные фразы «издревлей молитвы»:

— Отче наш... Ерусалим-Бугуруслан... кипарис-земля сырая... устала-приуснула... дева поднебесная... аллилуйя-ладанка... поникли лютики... живая помощь... Исус Христос... на нем защитна гимнастерка... вода студена... аминь-аминь-аминь... аминь-аминь-аминь...

Так проходит около часа.

Но вот графин пуст, «молитва» окончена, и наступает пора с душкой прощаться, «чтоб она по ночам

по дому не шастала, спать не мешала». Под руководством Петровны народ валит на двор. Здесь на столе уже приготовлен веник и ведро с квасом.

— Хрен в квас добавлять грех! — об этом «монашка» всегда напоминает, и народ внемлет, греха боится. — Не то душа хреново полетит.

Петровне подносят ковш безгрешного кваса, она отпивает, остатками плескает из ковша в народ. Хватает ведро, веник и отправляется кропить все четыре угла дома. Возвращается, грозно всех оглядывает. Ступает в дом, кропит там, раскрывает окна и начинает в доме шуметь — «покойника изгонять». Пошумев-погромыхав, является к народу и призывает публику глазеть по сторонам, «высматривать душку». Пролетает ли птица, жук, или муха, или просто несет ветром сор, Петровна указывает в сторону летящего предмета и восклицает: «Смотрите! Полетела! Понеслась душа в рай!»

Миссия выполнена, душа в раю. Люди улыбаются. Счастье! «Выгнали-таки своего покойничка на небеса!»

А тем временем, пока дом покойного сотрясает традиционная обрядовая свистопляска, он уже прошел все мытарства. Ангелы поставили его перед Божьим престолом. Господь, Который Своими страданиями на кресте открыл для всех нас райские двери, предлагает рай и новопреставленному. И если тот преуспел в посте, то вполне может отправляться в чертоги, где святые постники. Если же человек преуспел в братолюбии, то место ему среди милосердных братолюбивых святых. Если усопший истовый причастник, значит ему дорога туда, где святые, что причащались. Но вот беда: новопреставленный — такой же «святой», как и все мы. А значит,

ни с постниками, ни с милосердными, ни с причастниками ему не по пути. Не готов! Не делал сего! Ужас! Нет святых подвигов! Зато грехов, оказывается!.. Неужели не найдется ему в раю места? Неужели ему отправляться туда, где злые и немилосердные, где сквернословы и чревоугодники, где стоит плач и скрежет зубов? На что теперь надеяться, когда ничего в жизни уже не исправить? Может, хотя бы по горячим молитвам сродников Господь помилует и избавит от мук? Где вы, родственники, с вашими молитвами? Где? Просите, должно быть, Господа в церквях о моем прощении?..

Отнюдь. Сродники, мокрые от кваса, уже за столом. Во главе стола Петровна. Ей хорошо. Она произносит первый тост, за успешный отход души. Потом второй, «за то, чтоб душа не вернулась, — не чокаясь». Потом — за свою священную сорокоушку, «а иначе как же? завсегда-испокон».

И сколько крещеного люда из-за подобных народных традиций осталось без отпевания, без поминовения и без последующих молитв об их упокоении, — сие одному Богу ведомо...

Семеныч, когда еще церковь в селе не работала, справлялся раз у Петровны, по какому-де чину она правит свой ритуал и не лучше ли почитать Псалтырь, отслужить обедню с панихидой, заказать в какомнибудь приходе сорокоуст, помолиться? Но та возмутилась:

— Как-как ты сорокоушку называешь? «Сорокоуст»? Болван! А туда же, грамотный! Проводы душки – испокон веку, традиция. А ты кто такой?

На этом ее объяснения закончились.

Однажды на «священные» манипуляции Петровны попал приезжий дальний сродник очередного

покойного — человек интеллигентный. Рассказывали, помню, что он с любопытством разглядывал засаленную пожелтевшую книгу, которую «монашка» на минутку оставила на столе. Удивлялся весьма. Откуда, дескать, в исконном центрально-черноземном селе мог взяться этот раритет — «Социалистическое преобразование Советской Чувашии», да еще и изданный на чувашском? Но ему никто не ответил. Вскоре он убрался домой в Чебоксары и больше здесь не показывался.

...С той поры, как в селе открылся и служит-проповедует Божий храм, прошло уже многим больше десятка лет. Слово «сорокоушка» в народе стало, Божьей милостью, помаленьку забываться. Церковная тетрадь, куда Семеныч записывает сорокоусты, год от года толстеет.

Но только иной раз нет-нет да и видно, как постаревшая Петровна откуда-то бредет чуть свет пошатываясь. Традиция, что поделать.

Содержание

Атеист 5
Жертва 9
Аргументы и факты 17
Покровские летуны 21
Светлый кот 27
Техпомощь 31
Зимнее тепло 37
Всякое дерево,
или Подпорка для безработицы 43
Давид-креститель 49
Губернатор острова Мицубиси 55
Выдумка 63
Песня про гробы 69
Пельмень 73
Бананы на березе 79
Бивис, Батхед и прикладная химия 85
Словно блаженная Ксения 91
В миге от ада 97
Всякое дыхание 103

Резолюция 109
Лисенок 115
Солдатские поминки..121
Моя зависть..127
На всю жизнь 133
Древо благосеннолиственное..139
Сашина философия..145
«...накажи их» 151
Исповедь табашника..155
Последнее дело..161
Сеятели бисера..177
Сгоряча..185
Ощущение корней..189
«Для имени Моего...» 195
Настойка и грезы..199
В числе дураков 205
8 марта 211
Короткая сирень 219
Неформал Женя и его мать..223
Про великие мучения 229
Цена всем волнениям 235
Как стать успешным 243
Мангал..249
Поповская журналистика 261
Падение Веги 269
Наше наследство 277



Дорогие братья и сестры!

Мы начинаем строить храм.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла он будет называться храмом Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на крови, что на Лубянке. Освятить его, с Божией помощью, мы надеемся в феврале 2017 года.

Построенный к столетию трагических событий минувшего века, этот собор должен быть храмом-памятником победы Господа нашего Иисуса Христа и Его святых учеников — Исповедников и Новомучеников. Все в храме — и архитектура, и убранство — должно нести радость и свет Воскресения Христова, победы Церкви Божией над злом этого мира, торжества Вечной Жизни над смертью, образ Града Небесного, Нового Иерусалима, в центре которого Агнец — Господь наш Иисус Христос.

Новый храм станет собратом и соработником нашего любимого древнего собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

Средства на строительство поступают от наших благотворителей, зарабатываются трудами братии монастыря. Призываем вас, дорогие братья и сестры, принять участие в созидании храма.

Вся информация на сайте:

http://www.pravoslavie.ru/sobor/

Протоиерей Алексий
Лисняк

«Сашина философия»
и другие рассказы

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *архимандрит Тихан (Шевкунав)*
ДИРЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *иераманах Симеан (Тамачинский)*
РЕДАКТОР *Мария Жукава*
МАКЕТ *иераманах Матфей (Самахин)*
ВЕРСТКА, ОБРАБОТКА
ИЛЛЮСТРАЦИЙ *Игарь Цуп*
КОРРЕКТОР *Ларuса Иканникава*
ТЕХНОЛОГ *Михаил Мыскин*

ФОТОГРАФИИ *Александра Матвеева (с. 123, 141), Алексея Мякишева (с. 12, 17, 43, 49, 73, 75, 91, 121, 160, 161, 189, 255), фотобанка Лори (с. 5, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 40, 42, 45, 48, 54, 55, 62, 63, 64, 68, 69, 72, 78, 79, 82, 84, 85, 90, 96, 97, 102, 103, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 120, 126, 127, 132, 133, 135, 138, 139, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 157, 176, 177, 180, 184, 185, 188, 191, 194, 195, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 222, 223, 228, 229, 231, 234, 235, 239, 242, 243, 245, 248, 249, 260, 261, 268, 269, 276, 277, 281)*

В оформлении обложки использовано фото Аналалия Гаряинова

Подписано в печать 10.03.2014. Зак. № 1402930
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Объем 9 п.л. Тираж 30 000 экз.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура NewBaskervilleC.

Издательство Сретенского монастыря
Адрес издательства: 107031, Москва, Б. Лубянка, 19
Интернет-магазин: **www.sretenie.com**
Книжная торговля Сретенского монастыря: **(495) 628-8210**
Магазин «Сретение»: **(495) 623-8046**

arvato
ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

1800

Протоиерей Алексий Лисняк родился в 1975 г. в Воронежской области. Окончил Воронежскую духовную семинарию. С 1999 г. по сей день является настоятелем Богоявленского храма села Орлово Новоусманского района Воронежской области. Прозаик. Печатался в журналах: «Наш современник», «Фома», «Образ жизни», в церковной и светской периодике. Автор книг: «Праздник жизни», «Зимнее тепло», «Бананы на березе». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Член секции писателей «ПРОФИ» — профессионалы против профанации.

«Язык о. Алексия не испорчен, не замутнен привычными оборотами современной скороспелой речи. Он чист и образен».

Аркадий Макаров, член Союза писателей России



«Автор любит людей. Он смотрит вокруг взыскательным, но очень добрым взглядом...»

Евгений Новичихин, председатель правления Воронежского отделения Союза писателей России